



ОТЫСКАТЬ ДРУГ ДРУГА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ОНИКА МОР

18+

Оника Мор

Отыскать друг друга

<https://litres.ru/74687364>

SelfPub; 2026

Аннотация

Они пообещали друг другу всегда возвращаться.

Лидия Уолтер и Честер Фриман росли вместе, делили секреты, мечты и обещания, веря, что некоторые люди остаются навсегда.

Но взросление приносит боль, которую невозможно вылечить одним поцелуем, а любовь — не всегда означает быть вместе.

Она прячет свои шрамы за стенами молчания. Он учится ждать, даже когда ожидание разбивает ему сердце.

Но смогут ли они отыскать друг друга, если один отчаянно пытается убежать, а другой всё ещё помнит дорогу домой?

Оника Мор

Отыскать друг друга

СЕРИЯ: "Зеркала прошлого"

© 2026 Оника Мор

Все права защищены.

Данное произведение является объектом авторского права. Все персонажи, события, диалоги и текст произведения принадлежат автору, за исключением отдельно отмеченных материалов третьих лиц.

Копирование, распространение, публикация и использование текста или его частей без разрешения автора не допускаются, кроме случаев, предусмотренных законом.

Публикация произведения на других ресурсах без согласия автора запрещена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АВТОРА!

Пожалуйста, ознакомьтесь перед прочтением.

Эта история затрагивает тяжёлые темы и содержит сцены, которые могут оказаться эмоционально сложными для некоторых читателей.

В произведении присутствуют:

- физическое насилие над детьми и жестокое обращение в семье;
- сексуализированное насилие над несовершеннолетним и нарушение личных границ;
- психологическое и эмоциональное насилие, унижения, угрозы и оскорбления;
- алкоголизм и его последствия для семьи;
- смерть близкого человека, утрата и переживание горя;
- последствия детской травмы, страх, чувство вины и эмоциональная подавленность;
- буллинг и жестокое отношение со стороны окружающих;
- болезненные отношения, эмоциональные конфликты и непростые переживания взросления.

Некоторые сцены содержат подробные описания насилия и его физических и психологических последствий.

Пожалуйста, учитывайте собственное эмоциональное состояние во время чтения. Вы можете сделать паузу или отложить книгу, если почувствуете, что содержание становится для вас слишком тяжёлым. Вам не нужно дочитывать историю через дискомфорт.

Все события и персонажи представлены в рамках художественного произведения. Тяжёлые темы включены в повествование не для романтизации насилия, а как часть истории

персонажей и их жизненного опыта.

Спасибо, что читаете и бережно относитесь к себе.

*С любовью и заботой,
автор.*

ПЛЕЙЛИСТ

Bryan Adams — Heaven

The Killers — Mr. Brightside

Death Cab For Cutie — I will follow you into the dark

Kodaline — All I want

Elvis Presley — Cant help falling in love

The Beatles — Something

Ed Sheeran — Perfect

Bella Kay — Promise?

Sam Smith — Stay with me

The Script — Breakeven

Eminem, Rihanna — The monster

OneRepublic — Secrets

Katy Perry — Wide awake

Ed Sheeran — Photograph

X Ambassadors — Unsteady

Katy Perry — Unconditionally

The Fray — How to save a life

Snow Patrol — Chasing Cars

The Red Jumpsuit Apparatus — Your guardian angel
Taylor Swift — Exile

Посвящается

Всем маленьким сердцам, которым пришлось повзрослеть слишком рано. Вы самые сильные люди, которых только видело человечество.

НАЧАЛО КОНЦА

Лидия

25 августа 2004 года

— С днем рождения тебя, — напевала мама, неся в руках самый красивый торт, который я только видела. — С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя!

— Мамочка, мамочка! — воскликнула я, абсолютно переполненная восторгом от высоты кондитерского изделия. — Это самый лучший торт в мире, он такой большой, такой красивый.

Она засмеялась и поставила торт прямо передо мной. Ее некогда длинные светлые волосы — точная копия моих — теперь отсутствовали наполовину. Она носила косынку и всего за пару месяцев стала совсем тощей. Но тем не менее, я всё ещё любила мамочку, она всё равно была красивой, просто менее сильной. Это всё потому что мамочка была больна. Так мне объяснил папа.

— Загадай желание, звёздочка, — она пристроилась позади меня, чмокнув в щёчку и обняв за плечи. — Только это должно быть особенное желание.

— Особенное желание?

— То, которое обязательно сбудется.

— Это я могу! — весело хихикнула я, поправив громоздкий розовый бант на голове, который был частью наряда.

— Сделай это, моя красавица, — она нежно заправила выбившуюся прядь волос из моего пучка, ослепительно улыбаясь. Я даже видела маленькие огонёчки в ее зеленых глазах.

Мне не нужно было думать о том, чего я хотела, потому что единственное, что мне действительно было нужно, утекало, как вода сквозь пальцы.

— Я хочу... — неуверенный лепет вышел из меня и мой голос дрогнул. — Я хочу, чтобы ты жила вечно, мамочка. Чтобы твои волосы отросли обратно и ты перестала носить эту штуку, — я нежно коснулась платка на ее голове.

Она нервно улыбнулась, оставив призрак поцелуя на моем лбу.

Я задула свечи. И они мгновенно потухли.

Ветер окутал мои плечи так, что я вздрогнула от интенсивности соприкосновения и этой убойной комбинации с палящим солнцем. Сегодня был хороший день. Сегодня был мой день, тот, когда я загадала самое сокровенное желание, которое не имело ничего общего с новой коллекцией кукол или плетеных браслетов.

— Оно сбудется? — прошептала я, цепляясь за крохотную частицу надежды. Моя мамочка должна жить. Я не справлюсь без мамочки.

— О, моя любовь, — на глазах у мамы выступили непролитые слезы. Я много раз слышала, как по ночам она плакала в подушку, как папа утешал ее, но это были слёзы другого вида. — После того, как именно ты загадала? Конечно, сбудется, кроха. Иди ко мне, — она распахнула руки для объятий, в которые я охотно пошла.

— Обещай, что ты никогда не покинешь меня, обещай, что никогда не бросишь, — мой голос заглушился тканью ее кардигана, который безвольно висел на ней, ее макушка на моей голове, а мое лицо небрежно уткнуто в изгиб ее шеи. — Пообещай мне, мамуля, — прохрипела я, совсем не осознавая, как солёная влага скопилась в уголках глаз.

— Я здесь, малышка, я с тобой, — мама прижалась крепким поцелуем к моим светлым волосам, которыми, как она неоднократно говорила, очень гордится и восхищается. — Мама всегда с тобой, хорошо? *Что бы не случилось.*

Я кивнула, сильнее жимаясь в ее хрупкое тело, настроившись взять от этих объятий всё на свете.

— *Что бы не случилось,* — шмыгнув носом, проговорила я, сжимая маму достаточно сильно.

Сегодня мне исполнилось семь.

Мы сидели на веранде до момента, как солнце начало уходить за горизонт.

На мне было розовое платье, сшитое на заказ, на мне был самый красивый бант в мире и у меня был невероятно огромный торт, в честь дня моего рождения.

Мы обнимались с мамой, сжимая руки настолько крепко, что было трудно дышать, будто мы никогда не смогли бы отпустить, как бы не старались, а наши сердца гулко бились напротив друг друга.

Тогда я не знала, что это был последний раз.

Последний, когда я снова смогу ее сжать в объятиях.

Последний, когда я услышу ее сердце напротив.

Последний, когда увижу ее ослепительную улыбку.

Потому что моя мама ушла.

Она покинула меня.

А вместе с ней закончилась и вся моя жизнь.

Дальше начался сам ад.

ПОТЕРЯ ОДНОГО И ОБНАРУЖЕНИЕ ДРУГОГО

Лидия

10 октября 2004 года

7 октября. День, когда она умерла. День, когда я научилась ненавидеть шоколадное печенье, вечерний отдых и звук закрывающейся сетчатой двери.

Похоронная церемония проходила на окраине Эксетера.

Около церкви Святого Эндрю — маленькой и каменной, пережившей три столетия дождя, ветра и того особенного,

мягкого увядания английской деревни.

Мы с мамочкой приходили сюда каждое второе воскресенье.

Церковь всегда пахла старым деревом, свечным воском и чем-то более резким под этим — чем-то, что я никогда не могла до конца определить, запахом, который цеплялся к задней стенке горла и заставлял думать о шёпотных молитвах и секретах, которые не должны были произноситься вслух.

Она называла это место нашим местом силы, и я верила ей, потому что то, как свет падал сквозь витражные окна в те воскресные утра, заставляло меня чувствовать, что Бог реален и Он обращает внимание.

Я больше не чувствовала, что Бог обращает внимание.

— Как ты, моё солнце? — спросил папа, его голос грубый и странный, будто он говорил через горло, полное камней.

Он стоял рядом со мной у передней части собравшейся толпы, его рука сжимала мою так крепко, что почти причиняла боль.

На нём был его лучший тёмный костюм, тот, что он надевал на встречи с важными людьми и ужины в дорогих ресторанах, но теперь он висел на нём иначе — свободнее, как будто он сжался внутри.

Его челюсть была сжата тем особенным, жёстким образом, который означал, что он сдерживает что-то, а его глаза были красными по краям и саднящими.

Моё солнце. Так он меня называл.

Когда-то это было моё любимое прозвище в мире.

Теперь оно ощущалось как что-то, что принадлежало другой девочке, девочке, чья мать была ещё жива.

— Я хочу к маме, — прошептала я, мои слова вышли плоскими и тусклыми, как камень, брошенный в грязь. Я смотрела на траву под ногами — то, что от неё осталось, в любом случае, осенний холод уже превращал её в клочковатое и коричневое нечто. — Я хочу, чтобы она вернулась.

— *Мама...* — он остановился, тяжело сглатывая и я смотрела, как он пытается найти правильные слова, смотрела, как его лицо делает ту сложную вещь, которую оно делало уже несколько месяцев, с тех пор как мамочка начала носить платки, а папа начал использовать слова вроде «лечение» и «прогноз» приглушёнными голосами, которые, как они думали, я не слышу. — Мама смотрит на тебя с облачка, помнишь? Как я тебе говорил. Она смотрит на тебя прямо сейчас, и она так гордится тобой и, если ты ей *помашишь*, она помашет в ответ. *Я обещаю.* Она помашет в ответ.

Он пытался улыбаться, пытался сделать свой голос лёгким и обнадеживающим, каким он был раньше, до того, как всё развалилось. Но я видела трещины. Я видела, как его рот дрожал в уголках, а глаза становились яркими от чего-то, что не было счастьем.

— Какой смысл махать кому-то, когда *ты знаешь, что не увидишь, как они машут тебе в ответ?*

Он не ответил. Думаю, он не знал как.

Я мягко освободила свою руку из его ладони, когда к нам подошел какой-то очередной дядя в деловом костюме, чтобы принести соболезнования. И он был не единственный.

Большинство прибывающих здесь были чисто для галочки, чтобы не подрывать доверие моего папы, потому что мама говорила, что он — влиятельная фигура где-то там, название чего я до сих пор не запомнила, потому что оно было слишком умным и сложным.

— Ройс Уолтер, — высокий мужчина сильно пожал руку моему папе, деловым, крепким пожатием. Затем его взгляд опустился ко мне, и тёплая улыбка смягчила жёсткую линию его рта. — А ты, должно быть, Лидия. Приятно наконец познакомиться вживую и с тобой, ребёнок.

Я не могла ничего сказать в ответ.

Отчасти потому, что у меня не осталось слов, а отчасти потому, что мужчина был таким невозможным высоким.

Выше папы, выше всех, кого я когда-либо видела, что его сокрушительный рост застал меня совершенно врасплох.

Мне пришлось запрокинуть голову до конца, просто чтобы увидеть его лицо, и даже тогда я могла разглядеть только сильную линию его челюсти, бледное золото его волос и тот особенный, тёплый свет в его глазах, который казался неуместным в такой день, как сегодня.

Он кратко кивнул, по-видимому, понимая, что я не собираюсь отвечать, и перевёл внимание обратно на папу. —

Сэйнт Фриман, — представился он. — Мы говорили с вами по телефону на этой неделе. Я хотел выразить соболезнования лично...

Их голоса растворились в фоне, когда я сделала шаг назад, затем другой, а затем я пошла. Мои лакированные туфли увязали в грязи от дождя, который лил всю ночь, того беспощадного, промачивающего дождя, который, казалось, скорбил вместе с нами.

Небо темнело над головой, облака сгущались гуще и тяжелее, а ветер усиливался, отправляя мёртвые листья в пляс по надгробиям, как испуганные существа, пытающиеся сбежать.

Я шла, пока шум церемонии не стал далёким гулом позади меня, пока я не достигла дальнего угла церковного двора, где трава росла длиннее, а надгробия были старше, а маленький, заброшенный сад остался дичать.

Там была каменная скамья, покрытая мхом и наполовину скрытая голыми ветвями розового куста, который, вероятно, был красивым когда-то, до того, как кто-то забыл о нём позаботиться.

Я села и позволила ногам болтаться над грязью и посмотрела вверх на небо.

Моя мамочка ушла.

Почему она не взяла меня с собой? Я хотела, чтобы она вернулась.

Эта коробка — та ужасная, полированная деревянная ко-

робка, в которую её опускали — не была для неё местом.

Она была слишком маленькой. Она была слишком тёмной.

Она не сможет видеть улыбающиеся звёзды оттуда, те, что она показывала мне ясными ночами, когда мы сидели на заднем крыльце вместе.

«Посмотри, звёздочка, — говорила она, указывая на небо. — Они улыбаются тебе. Они знают, что ты особенная».

Как она сможет их видеть изнутри коробки в земле?

Ветер порывисто дунул, и ещё одна прядь волос хлестнула меня по лицу. Я не убрала её.

— Вот ты где, — сказал голос позади меня, высокий и яркий и безошибочно знакомый. — Я искал тебя повсюду. Ты очень хорошо исчезаешь. Как крошечный, подавленный призрак. Это грубо? Прозвучало грубо. Прости.

Я обернулась.

Бэйтс Хоккинс стоял у края сада, его руки засунуты в карманы слишком большого чёрного пиджака, который определённо был отцовским, он свисал за запястья и почти до колен, а его светлые волосы торчали в семнадцати разных направлениях, будто никогда не встречали расчёски и не собирались начинать сейчас. Его лицо было бледным, а глаза — слишком яркими, и я видела, что он очень старался быть весёлым и у него заканчивалась энергия.

— Привет, Бэйтс, — сказала я и мой говор вышел тише, чем я хотела.

Он пересёк сад и плюхнулся на скамью рядом со мной с той особенной, неграциозной уверенностью семилетки, который никогда не встречал поверхности, на которой не мог бы развалиться.

— Твою маму опускают в землю, — сказал он, а затем немедленно поморщился. — Это было... я не должен был этого говорить. Это была ужасная вещь. Прости. Мой папа говорит, что у меня проблема с чувством момента.

Я ничего не сказала. Я снова смотрела на траву, на то, как дождь рисовал крошечные реки в грязи.

— Лидия? — его голос был тише теперь. — Мне правда жаль. Обо всём. О твоей маме. О том, что я только что сказал. Обо... всём.

— Всё нормально.

— Это не нормально. Ничто из этого не нормально, — он мягко постучал пятками по каменной скамье — тихий, ритмичный стук, который, казалось, совпадал с биением моего сердца. — Ты хочешь, чтобы я остался? Или хочешь, чтобы я ушёл? Я могу и так, и так. Я очень адаптивный. Мой папа говорит, что это одно из моих самых раздражающих качеств.

— Остайся.

— Хорошо. *Я останусь.*

Мы сидели в тишине долгое мгновение, а затем калитка сада скрипнула, и появились Оливия и Джейкоб, их лица бледные и торжественные в сером утреннем свете.

Оливия была в тёмно-синем платье с бантом у воротника,

а её волосы были убраны назад так туго, что это делало её глаза шире обычного.

Она держала маленький пучок полевых цветов — жёлтых и белых, из тех, что росли в канавах вдоль дороги, тех самых, что мамочка называла лютиками.

— Мы принесли это, — сказала она, протягивая цветы ко мне. — Для твоей мамы. Джейкоб их собрал. Он сказал, что жёлтые были самыми ботанически интересными.

— Я не говорил этого, — пробормотал Джейкоб, его уши розовели. — Я сказал, что это *Helianthus*. Что отличается от интересного.

— Это то же самое.

— Это не то же самое. *Helianthus* — это научная классификация. Это более точно.

— Это цветы, Джейкоб.

Оливия проигнорировала его и вложила полевые цветы в мои руки. — Они красивые, — сказала она твёрдо, будто это решало вопрос. — Так что твоей маме они понравятся.

— Дэйвон пока не идёт, — сказал Бэйтс, его плечо всё ещё прижато к моему. — Потому что он нашёл какого-то гениального ребёнка у стола с напитками, они спорят уже минут пятнадцать. Я не мог понять и половины слов. Думаю, они перешли от динозавров и теперь говорят о древних торговых путях или что-то такое. Этот ребёнок как крошечный светловолосый профессор. Это нервирует.

— Дэйвон нашёл гениального ребёнка?

— Какой-то мальчик Фриман. Очень высокий. Выше Дэй-вона, чему Дэйвон очень раздражён. Он постоянно использует слова, которых я никогда раньше не слышал. Разве что только от Джейкоба.

Я ничего не сказала. Я снова думала о коробке.

— Лидия? — голос Бэйтса был тише теперь. — Ты в порядке?

— Нет.

— Ага, — он снова постучал пятками по скамье. — Я так и думал.

— Дождь усиливается, — сказала Оливия, потянув Джейкоба за рукав. — Нам пора идти искать зонтики. Лидия, пойдем?

— Я хочу остаться здесь. Ещё немного.

Они обменялись взглядами — то особое, безмолвное общение детей, которые знали друг друга всю свою жизнь — и затем Оливия кивнула. — Мы вернёмся, — пообещала она. — Не уходи.

Они исчезли за калиткой сада, и я сидела одна на замшевой скамье, пока морось не превратилась в дождь, а дождь в нечто более тяжёлое, что промачивало моё чёрное платье и прилепляло волосы к лицу.

Калитка сада скрипнула снова, и я подняла взгляд, ожидая Бэйтса или Оливию.

Но это были не они.

Два мальчика стояли у края сада.

Мой друг — Дэйвон Кавелли, его тёмные волосы прилеплены ко лбу, выражение его лица было серьёзным. А рядом с ним — выше Дэйвона, как и сказал Бэйтс — был тот самый гениальный ребёнок.

Бледно-золотые волосы темнели до бронзы под дождём и глаза самого странного цвета, который я когда-либо видела.

Не зелёные. Не серые. Не золотые. Все три сразу, переливающиеся, как поверхность моря.

— Это Честер Фриман, — объявил Дэйвон, указывая на мальчика рядом с ним. — Его папа работает с твоим папой. Он очень раздражающий.

— Я не раздражающий, — сказал Честер, его голос был тише, чем я представляла, гораздо ровнее. — Я интеллектуально подкованный.

— Это именно то, что сказал бы раздражающий человек. Я посмотрела на Честера, он посмотрел на меня и что-то прошло между нами — что-то маленькое, странное и совершенно неожиданное.

— Это ты принёс мороженое, — сказала я. — Я видела тебя раньше. Ты нёс его.

Он моргнул. — Ты видела?

— Я вижу всё. Я очень наблюдательная.

— Я тоже, — Он пересёк сад и сел на скамью рядом со мной, достаточно близко, чтобы я чувствовала тепло его тела напротив холодного октябрьского воздуха. Он не спросил разрешения. Он просто сел, будто это было самой естествен-

ной вещью в мире. — Мне жаль твою маму. Мы приехали поддержать. Мои родители, я имею в виду. Я просто приехал, потому что должен был.

— Это очень честно.

— Я честный человек.

Дэйвон, по-видимому, решив, что его работа здесь закончена, коротко кивнул и исчез обратно за калиткой сада, оставив нас двоих под дождём.

Я посмотрела на Честера — этого странного, серьёзного мальчика, который разговаривал как крошечный взрослый и не боялся сидеть рядом с плачущей девочкой на похоронах — и почувствовала, как что-то вновь сдвинулось внутри меня.

— Я буду называть тебя *Чесси*, — неожиданно объявила я. — Потому что ты мой новый друг.

Его лицо сделало что-то сложное — его нос сморщился, его рот скривился, и он посмотрел на меня с выражением такого искреннего, незащищённого ужаса, что я почти засмеялась.

— Это *отвратительно*, — сказал он. — Это худшее прозвище, которое я когда-либо слышал.

— Это ласково.

— Это ужасно. Это звучит как болезнь. «*Мне очень жаль, у вас Чесси. Это очень серьёзно*».

Я обдумала это, слизывая каплю дождя с губы. Настоящий, почти-смех поднялся пузырями откуда-то изнутри ме-

ня. — Ладно. А что насчёт Чес? Или Чи?

— *Чес*, — попробовал он слово, его лоб нахмурился. — *Чи*, — он обдумывал ровно секунду. — Чес хорошо. Чи тоже хорошо. Никто никогда не называл меня ни так, ни так раньше. Они звучат... Не знаю. Как кто-то, кем я не против быть.

— Тогда они оба твои. У тебя может быть два прозвища.

— Разве у человека может быть два прозвища?

— Может. Я только что решила. Я очень хорошо решаю вещи.

Он почти улыбнулся, лишь проблеск в уголке рта, появившийся и исчезнувший. — А как мне тогда называть тебя? Ты не можешь быть единственной, кто раздаёт имена. Это несправедливо.

— Можешь называть меня как хочешь.

Он замолчал на долгое мгновение, его странного цвета глаза изучали моё лицо с той особенной, сосредоточенной интенсивностью человека, который каталогизировал всё и не забывал ничего.

Я почти видела, как он думает, переворачивая возможности в уме, как камни, проверяя их вес.

— *Лиди*, — сказал он наконец. — Я буду называть тебя *Лиди*.

Я моргнула. — Лиди?

— Это почти Лидия. Проще. Чище, — Чес замолчал, выходя внезапно неуверенным. — Это нормально? Я никогда никому не давал прозвище раньше.

Я попробовала имя в голове.

Лиди. Никто никогда меня так не называл.

Ни мамочка, ни папа, ни кто-то из моих друзей. Оно было новым. Оно было моим.

— Это идеально, — сказала я. — Ты можешь быть единственным, кто его использует.

— Хорошо. Потому что я не собираюсь им делиться. Я решил.

Он полез в карман и вытащил что-то завёрнутое в бумагу.

— Я принёс его, — сказал он. — Мятное мороженое. С шоколадом сверху. Моя мама взяла его для меня перед тем, как мы уехали. Она сказала, что я должен принести что-то, на случай если будет кто-то, кому это нужно. Ты выглядишь так, будто оно тебе нужно.

— Это не имеет никакого смысла.

— Это не обязано иметь смысл. Оно просто должно помогать. Моя мама говорит, что иногда вещи, которые помогают больше всего — это те, что не имеют вообще никакого смысла. Как плакать, когда ты счастлив или смеяться, когда тебе грустно, или приносить мятное мороженое на похороны.

— Твоя мама звучит странно.

— Так и есть. Она лучший человек, которого я знаю.

Что-то в его голосе — тихая, абсолютная уверенность этого, то, как он сказал это, будто это был просто факт, как то, что небо серое, а дождь холодный, а его мать — лучший человек, которого он знает — заставило моё горло сжаться.

— Прости, — сказала я. — Что не отвечаю про твою мою маму. Я не очень хорошо говорю сейчас.

— Тебе не нужно говорить. Тебе не нужно делать ничего. Но если ты хочешь поговорить, я послушаю. Мне говорили, что я хороший слушатель. Я не перебиваю.

— Кто тебе это сказал? — я нахмурилась, болтая ногами вперед-назад.

— Моя мама. Но она, возможно, предвзята. Она также говорит мне, что я красивый, и я почти уверен, что это объективно неправда.

Я почти засмеялась. Это был маленький, хрупкий звук, едва громче вздоха, но он был там. — Ты очень странный.

— Я знаю. Мне это тоже говорили.

Он отогнул обёртку. Я уставилась на мороженое. Оно начинало размягчаться по краям, шоколадная глазурь уже трескалась, и мой первый инстинкт — резкий и немедленный — был взять его и съесть одной,

удержать что-то, что было только моим в день, когда всё остальное было отнято. Я потянулась за ним.

Затем я остановилась.

Моя рука зависла в воздухе между нами, и я посмотрела на Честера — на его промокшие под дождём волосы, на его странные, серьёзные глаза и на то, как он протягивал мне мороженое, словно подношение.

Он приехал на похороны женщины, которую никогда не встречал, и принёс мятное мороженое, потому что его мама

сказала ему, что оно может кому-то понадобиться, и он сел рядом со мной под дождём без приглашения, когда мне это было нужно.

— Ты тоже должен взять немного, — сказала я, отдёргивая руку. — Это твоё. Ты его принёс.

— Я принёс его для тебя.

— А теперь я делюсь им с тобой. Это то, что делают друзья. Я только что решила и это тоже.

Он обдумал это мгновение. Затем он отогнул обёртку и разломил мороженое пополам. Оно треснуло чисто посередине, шоколадная глазурь раскололась на тёмные, блестящие осколки и протянул одну половину мне.

— Держи, Лиди.

Я взяла её. — Спасибо, Чес.

Мы сидели там под дождём, вдвоём, ели мятное мороженое на замшелой скамье в заброшенном саду на похоронах.

Дождь начинал ослабевать теперь, тяжёлые капли уступали мелкому, серебряному туману, который висел в воздухе, как обещание. И впервые за три дня что-то кроме горя шевельнулось в моей груди.

— Моя мама также говорит, что быть странным лучше, чем быть скучным. Я пока не уверен, что согласен с ней, но я работаю над этим, — голос Честера разрезал образовавшуюся тишину.

Я моментально включилась в диалог. — Моя мамочка говорила такие же вещи. Она называла меня своей звёздочкой,

— мой голос треснул на последнем слове, и я почувствовала, как слёзы, которые я сдерживала три дня, прижались к задней стенке глаз. — Она теперь в коробке. Та коробка, в которую её положили — это не место для неё. Там слишком темно. *Она не сможет видеть звёзды оттуда. Она не сможет видеть ничего.*

Честер замолчал на долгое мгновение. Дождь продолжал падать, промачивая нашу одежду, прилепляя его бледные волосы ко лбу, капая с кончика его носа. Затем он сказал, очень тихо: — *Может быть, звёзды могут видеть её.*

Я моргнула. — Что?

— Звёзды. Может быть, они могут видеть её, даже если она не может видеть их. Может быть, они смотрят сквозь коробку прямо сейчас, и они улыбаются ей, и она знает. Даже если не может видеть их в ответ.

Логика была нелепой.

Это не имело никакого смысла. Коробка была коробкой, звёзды — звёздами, а мёртвое — мёртвым и никакое количество мятного мороженого или странных, серьёзных мальчиков не могло этого изменить.

Но я хотела, чтобы это было правдой.

Я хотела этого так сильно, что всё моё тело ныло от этого.

— Ты правда в это веришь? — спросила я.

— Я не знаю, — признался он. — Но я хочу. А иногда хотеть верить во что-то — это то же самое, что верить. По крайней мере, так говорит моя мама.

— Это тоже не имеет смысла.

— Я знаю, — почти улыбнулся Чес. Лишь проблеск в уголке рта, появившийся и исчезнувший, как секрет, который он ещё решал, стоит ли разделить. — Я же сказал тебе. Это не обязано.

— Чес? — тихо сказала я.

— Да?

— Как думаешь, она знала? Моя мамочка? Что она умрёт?

Он замолчал на долгое мгновение, его мороженое забыто в руке. — Думаю, да, — сказал он наконец. — Моя мама говорит, что иногда люди знают. Не страшным образом. Просто... Тихо. Как когда ты знаешь, что будет дождь, до того, как упадёт первая капля.

— Она поцеловала меня перед тем, как выйти. Она сказала, что я большая девочка. Она сказала, что я могу закончить печенье сама, — мой голос треснул. — Она знала. Она знала и не сказала мне.

— Может быть, она не сказала тебе, потому что хотела, чтобы ты была счастлива. Хотя бы щё немного, — он посмотрел на меня и его странного цвета глаза были пронзительны. — Может быть, это был её подарок тебе. Последний обычный момент.

Я думала об этом. О мамочке, целующей меня в щёку, о её голосе — мягком и усталом, но тёплом, о том, как она выскользнула через заднюю дверь, будто это был любой другой вечер.

— Я не успела попрощаться.

— Тебе не нужно прощаться. Моя мама говорит, что люди, которых мы любим, на самом деле не уходят. Они просто... меняются. Как вода становится облаками, а потом снова дождём. Они всё ещё там. Просто по-другому.

— Это очень поэтично.

— Моя мама очень поэтична. Это изматывает, — Чес откусил мороженое. — Но я думаю, она, возможно, права. Кое в чём. Не во всём. Она ошибается насчёт брюссельской капусты.

Я почти засмеялась снова. — Я ненавижу брюссельскую капусту.

— Все ненавидят брюссельскую капусту. Это единственное, с чем все согласны, — он посмотрел на меня, и его глаза снова стали серьёзными. — Ты будешь в порядке, Лиди. Я знаю.

— Ты не знаешь этого.

— Знаю. Ты из тех людей, которые переживают вещи. Я вижу.

Мы доели мороженое в тишине, и когда последний шоколад был съеден и обёртка смята в руке Честера, он встал и протянул мне руку. — Пойдём. Нам нужно вернуться. Твой папа будет тебя искать. И моя мама будет меня искать — она волнуется. Она очень требовательна к тому, чтобы оставаться сухим.

— Твоя мама, кажется, очень требовательна ко многому.

— Так и есть. Она самый требовательный человек, которого я знаю, — Честер замолчал, его рука всё ещё протянута.
— Ты ей понравишься.

— Ты не знаешь этого.

— Знаю, Лиди.

Я взяла его за руку. Его пальцы были холодными и мокрыми от дождя, но его хватка была крепкой и он не отпускал мою ладонь, пока мы не достигли края церковного двора, где папа стоял с высоким мужчиной — Сэйнтот Фриманом, тем, с сокрушительным ростом и тёплой, неожиданной улыбкой — и где женщина со светлыми волосами и самыми добрыми глазами, которые я когда-либо видела, ждала с зонтиком и выражением нежного раздражения.

— Вот ты где, — сказала женщина, и её голос был точно таким, как описывал её Честер — тёплым, требовательным и полным любви. — Я искала тебя повсюду. Ты промок насквозь. Я говорила тебе взять зонтик.

— Я забыл, — сказал Честер, не звуча раскаивающимся ни капли.

— Ты никогда ничего не забываешь. Ты решил не брать его.

— Я решил предпринять попытку.

— Попытка была в том, что ты не слушаешь свою мать.

Он повернулся ко мне. — Это моя мама. Она очень командующая. Но она лучший человек, которого я знаю.

— Честер, — сказала женщина, но она улыбалась. Затем

она посмотрела на меня, её выражение смягчилось во что-то настолько тёплое, настолько совершенно неожиданно доброе, что моё горло сжалось. — Ты, должно быть, Лидия. Я Лилисия Фриман. Так приятно наконец познакомиться с тобой, дорогая. Честер наблюдал за тобой с самого начала церемонии.

— Он наблюдал?

— Как сокол.

Я посмотрела на Честера, и он очень пристально смотрел на надгробие, его уши розовели. — Мама, — пробормотал он. — Необязательно было говорить об этом вслух.

— Ты странный и очень милый, — я весело хохотнула, одарив этого мальчика самой теплой своей улыбкой.

Сэйнт Фриман положил руку на плечо Честера и этот жест был таким повседневным, таким полным тихой привязанности, что я почувствовала, как что-то заняло внутри.

— Нам нужно отвести вас обоих внутрь, — сказал он. — Дождь начинается снова.

Папа появился рядом со мной, его рука нашла моё плечо. — Лидия, это Сэйнт Фриман и его жена Лилисия. Они...

— Родители Честера, — сказала я. — Я знаю. Мы теперь друзья.

Папа моргнул. — Вы?

— Я решила. — Я посмотрела на Честера и он почти улыбнулся снова. — Мы оба решили.

Лилисия Фриман засмеялась тёплым, музыкальным зву-

ком, который, казалось, отодвинул серое октябрьское небо. — Ну что ж. Любой друг Честера — семья, насколько я понимаю. Вы должны прийти на ужин как-нибудь. Я делаю очень хороший пастуший пирог.

— Она делает, — подтвердил Честер. — Я подтверждаю.

Мы стояли там ещё мгновение, взрослые говорили над нашими головами о вещах, которых я не понимала — бизнес, расписания, телефонные звонки, — затем Честер повернулся ко мне, его странного цвета глаза держали мои.

— Мне пора идти, — сказал он. — Моя мама говорит, у папы ещё одна встреча после обеда.

— Я тебя ещё увижу?

— Вероятно. Наши папы вроде как работают теперь вместе. И моя мама уже пригласила тебя на ужин. Она никогда не забывает такие вещи, — Чес замолчал. — Но если хочешь, *я могу пообещать.*

— Как ты обещаешь?

Он подумал мгновение. Затем он протянул руку — не для рукопожатия, а с выставленным мизинцем. — Так мы с мамой даём обещания. Вы сцепляете мизинцы и тогда ты не можешь его нарушить. Это физически невозможно.

— Это... Необычно.

— Нет, это эмоционально точно.

Я посмотрела на его выставленный мизинец, затем на его лицо — этого странного, серьёзного мальчика, который принёс мятное мороженое на похороны и дал мне прозвище, а

потом сказал, что моя мать, как дождь. Затем я сцепила свой мизинец с его.

— *Я обещаю, что увижу тебя снова, Лиди,* — сказал он.

— Я всерьёз.

— *Я поймаю тебя на слове,* Чес.

— Я знаю, что поймашь.

Он ушёл, рука его матери на его плече, её зонтик над их головами и я смотрела, как он уходит, пока толпа не поглотила их. Дождь прекратился теперь и облака начинали расходиться, и где-то за серым октябрьским небом звёзды всё ещё были там. Они улыбались. *Чес* так сказал. И сейчас — на этот момент, на этот ужасный, прекрасный, невозможный день — этого было достаточно.

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ, КРАСНЫЕ ЩЕКИ И КЛЯТВА НА МИЗИНЦАХ

Лидия

13 октября 2004 года

Октябрьское солнце висело в небе ослепительно-белой монетой, припекая щёки так, что я натянула одолженную панаму до бровей и стащила очки Оливии, пока она не видела. Задняя лужайка Блэйков простиралась перед нами зелёным океаном, трава всё ещё влажная от утренней росы и промачивала одеяло для пикника, которое мы бросили у старого дуба. Где-то за нами Элси Блэйк, наверное, наблюдала с тер-

расы, считая минуты до побега в Сан-Тропе.

— Ты выглядишь смешно, — сказала Оливия, опускаясь на одеяло рядом со мной с той особенной, отработанной грацией семилетки, которую растила мать, одержимая осанкой. — Твои очки слишком большие для твоей головы.

— Это твои очки.

— Знаю. Поэтому они и выглядят нелепо, — она поправила их на моём носу одним пальцем и окинула меня долгим, оценивающим взглядом. — Ты всё ещё грустная.

Это был не вопрос. За годы я усвоила, что Оливия не задаёт вопросов, когда уже знает ответы. Она просто констатировала факты и ждала подтверждения или опровержения.

— Немного, — призналась я, теребя свободную нитку на одеяле. — Меньше, чем вчера.

— Меньше, чем вчера — это хорошо.

— Меньше, чем вчера — это лучше, чем больше, чем вчера.

С середины лужайки крик рассёк наш разговор — высокий, возмущённый и безошибочно принадлежащий Бэйтсу.

— Ты держишь неправильно! Дэйвон, скажи ему, что он держит неправильно!

— Я держу именно так, как ты показал! — голос Джейкоба прорезался в ответ. — Натяжение верёвки совершенно неправильное для текущей скорости ветра!

— Чего? — с недоумевающим выражением лица переспросил Бэйтс.

— Ветра! Слишком ветрено!

— Недостаточно ветрено. Вот в чём проблема!

Дэйвон, который стоял между ними со змеем, издал стон, который я услышала за двадцать футов. — Вы оба прекратите кричать. Нам нужно начать заново. Угол запуска был неправильный.

— Мы начинали заново четыре раза, — пробормотал Джейкоб, скрещивая руки на груди. — Угол запуска не проблема. Проблема в том, что Бэйтс продолжает бежать не в ту сторону.

— Я бегу к ветру!

— Ты бежишь к дому! Ветер дует с противоположной стороны!

— Тогда ветер должен поменять направление!

— Ветер так не работает, ты абсолютный грецкий орех.

— Твоё лицо — грецкий орех.

— Твоё лицо было грецким орехом с того дня, как ты родился

Сегодня рано утром все они вытянули меня из кровати и заставили пойти к поместью Блэйков, потому что: *"Ты выглядишь ужасно, ты нужна солнечным лучам, а солнечные лучи нужны тебе"* — именно так и сказал тогда Бэй-Бэй, а все остальные подтвердили.

Я не стала спорить. Это бы сделало только хуже. Это бы позволило тоске и грусти захлестнуть меня еще больше.

Прошло три дня с похорон. Три дня с тех пор, как я стоя-

ла на церковном дворе церкви под дождём, промачивавшим моё чёрное платье и облаками, давившими на шпиль, как задержанное дыхание. Три дня с тех пор, как я сидела на скамье в заброшенном саду и делила мятное мороженое со странным серьёзным мальчиком, который пообещал, сцепив свой мизинец с моим, что увидит меня снова.

Больше я его не видела и маленькая хрупкая часть меня начала беспокоиться, что обещание на мизинцах было сном, чем-то, что я вообразила в тумане горя. Я думала о нём больше раз, чем могла сосчитать на пальцах.

— Они будут так весь день, — пробормотала Оливия, толкая меня плечом. — Они не запустят его без помощи взрослого.

— Или кого-то, кто действительно знает, что делает, — сказала я.

— Тоже верно. Но Элси не поможет. Она слишком занята тем, чтобы мы не покалечились.

Я оглянулась через плечо.

Элси Блэйк — старшая сестра Джейкоба, семнадцати лет, уже обладавшая той особенной, усталой властностью человека, которому поручили присматривать за семилетками против его воли, развалилась в шезлонге у дома, журнал открыт на коленях и огромные солнцезащитные очки закрывали половину лица

— Ты делаешь это неправильно! — рявкнул Дэйвон, встряхивая ткань змея, чтобы ветер мог её поймать. — Нам

нужно начать заново. Такими темпами мы никогда его не запустим.

— Это не имеет смысла — у меня почти получилось! Ты делаешь ровно то же самое, что и я! — запротестовал Бэйтс, его голос поднялся до тональности, которая заставила нескольких птиц сорваться с дуба на краю луга. — Ты сам не имеешь смысла, абсолютный дыня.

— Твоё лицо не имеет смысла, глупец. Я почти разобрался, так что просто дай мне...

— Вы двое невыносимы, перестаньте ссориться, — буркнул Джей, его руки скрещены на груди и он смотрел на них двоих, как на головоломку, решить которую бы не смог самый отчаянный гений. — Вы оба делаете это неправильно. Угол нити неправильный относительно направления ветра.

— Эй! Эй! — голос Элси Блэйк рассёк лужайку. Старшая сестра Джейкоба шагала к нам, её тёмные волосы раскачивались, а выражение лица было тем особенным видом стресса, который бывает у подростков, вынужденных присматривать за детьми. — Вы должны быть аккуратнее, все вы. Я не хочу потерять поездку в Сан-Тропе из-за того, что кто-то сломал лодыжку. Поняли? Никаких врезаний в деревья, никаких падений в пруд и никаких... — она указала на Бэйтса, который открыл рот. — ...что бы ты ни собирался сказать. Просто будьте аккуратнее. Ради моего загара.

— Мы очень аккуратные, — сказал Бэйтс. — Мы пионеры аккуратности.

— Вы пионеры того, чтобы довести меня до головной боли, — она повернулась ко мне и Оливии, её лицо смягчилось. — Вы двое разумные. Сохраните им жизнь. Я буду на террасе.

Она ушла, и Оливия сдвинула очки вверх. — Она милая. Просто напряжена.

— Я бы тоже была напряжена, если бы мне пришлось следить за нами.

— Правда. Мы изматывающие.

На траве мальчики перегруппировались. Дэйвон поднял змея высоко над головой, а Бэйтс вцепился в верёвку обеими руками, его костяшки побелели.

— Готов? — крикнул Дэйвон.

— Готов!

— Давай!

Бэйтс сорвался с места, ноги мелькали, верёвка тянулась за ним. Дэйвон запустил змея мощным броском, и на один удар сердца — два — красная ткань поймала ветер. Она надулась, ленточный хвост развевался, и змей поднялся — футов на десять, на двенадцать — прежде чем ветер сместился и всё это рухнуло обратно в путанице верёвок и уязвлённой гордости.

— Бракованный! — завыл Бэйтс, швыряя катушку с верёвкой на траву.

— Ты бракованный! — заорал в ответ Дэйвон.

— Я досчитаю до трёх, — сказал Джейкоб идеально ров-

ным голосом. — И если вы двое не прекратите спорить, я пойду в тот пруд и никогда не выйду.

— Пруд глубиной в два фута, Джейкоб.

— Тогда я буду тонуть медленно и мучительно, это будет ваша вина.

Я уже собиралась предложить — снова — что, может быть, нам стоит им помочь, когда калитка сада в дальнем конце лужайки скрипнула.

Я обернулась, ожидая Элси, возвращающуюся наорать на нас из-за её загара в Сан-Тропе. Но это была не Элси.

Это был... Я не поверила собственным глазам.

Это был Честер. Это был Чес.

Мой Чес!

Он шёл по траве к нам той своей особенной устойчивой походкой, которую я заметила на похоронах, когда он пересёк заброшенный сад, чтобы сесть рядом со мной на скамейку.

Его пшенично-золотые волосы были яркими на солнце, а его странного цвета глаза — серые, зелёные и коричневые одновременно, были устремлены на катастрофу, разворачивающуюся на лужайке.

Он что-то нёс.

Воздушного змея.

Но не такого, как у нас. Этот был меньше, обтекаемее, сделан из бледно-голубой ткани с хвостом, в который, казалось, были вплетены настоящие белые перья, мягко взъерошен-

ный на ветру, как птица, мечтающая о полёте.

— Фриман! — закричал Дэйвон, немедленно бросая красного змея. Всё его лицо осветилось облегчением. — Ты правда пришёл!

— Ты пригласил меня, — сказал Честер, останавливаясь в нескольких футах от моего одеяла. Его взгляд скользнул по сцене — побеждённый красный змей на траве, Бэйтс всё ещё краснолицый и кипящий, Джейкоб, выглядевший так, будто мысленно составляет завещание — и уголок его рта дрогнул. — Этот змей, кажется, на земле.

— Он взял небольшой отдых, — сказал Дэйвон.

— Он выглядит умершим.

— Все еще небольшой отдых.

Честер повернулся ко мне, и что-то в его выражении сдвинулось, смягчилось, каким-то образом, как было на похоро-
нах, когда он разломил своё мятное мороженое пополам и протянул его мне. — Привет, Лиди, — сказал он.

Прозвище опустилось на меня, как что-то тёплое.

— Ты вернулся, — сказала я и мой голос вышел более удивлённым, чем я хотела.

— Я говорил тебе, что вернусь, — он поднял голубого змея. — Я принёс это. Моя мама помогла мне его сделать. Она сказала, если я собираюсь увидеть тебя, я должен принести что-то, что действительно летает.

— Твоя мама очень хорошая.

— Она самый хороший человек в целом мире, — он за-

молчал и я увидела, как его пальцы слегка сжались на раме змея. — Можно мне посидеть с тобой?

Я кивнула, подвинувшись, чтобы освободить место, и он опустился на одеяло рядом со мной достаточно близко, чтобы я чувствовала запах порошка, которым пахла его одежда, что-то чистое и резкое, как кедровый сундук в спальне мамочки и папочки.

Моя грудь сжалась при этой мысли, но это было маленькое сжатие. Терпимое.

Оливия, наблюдавшая за этим обменом с тем особенным, понимающим выражением человека, который замечал всё, встала и потянулась. — Я пойду возьму ещё воды, — объявила она, хотя её стакан всё ещё был наполовину полон. — Из дома. Очень далеко. Меня не будет какое-то время.

Она поймала мой взгляд и посмотрела на меня взглядом, которого я не совсем поняла, а затем ушла по направлению к дому, оставляя меня наедине с Честером на одеяле, пока мальчики возобновили свою перебранку на дальнем конце лужайки.

— Как ты? — спросил тихо Честер. — После похорон. После всего.

Я ковыряла выбившуюся нитку на одеяле, не глядя на него. — Иногда я в порядке, — сказала я. — А потом я вспоминаю, и я больше не в порядке. Это как... как ветер. Приходит и уходит.

Он кивнул, его пальцы мягко барабанили по раме змея.

— Так было, когда умер мой дедушка. Прошёл год, а меня всё ещё... — он остановился, подбирая слово. — Волны. Моя мама называет это волнами. Иногда они сбивают меня с ног. Иногда я могу устоять.

— Становится легче? Устоять?

— Становится... по-другому, — он посмотрел на меня, и его глаза — те невозможные, переливающиеся глаза — были удерживающими. — Менее острым по краям. Как камень, который долго пролежал в реке.

— Это очень по-умному.

— Моя мама тоже так говорит. Думаю, она ждала, когда я стану глубоким и задумчивым. Она много читает поэзии.

Я засмеялась маленьким удивлённым звуком, который, казалось, застал его врасплох. Его щёки стали слабо розовыми, и он опустил взгляд на змея в своих руках. — Хочешь запустить его? — спросил он. — Змея. Он работает лучше, чем их. Моя мама тестировала его в саду.

— Твоя мама тестирует воздушных змеев?

— Моя мама тестирует всё. Она говорит, если что-то стоит делать, это стоит делать как следует. — он встал и протянул мне руку и я взяла её. Его пальцы были тёплыми вокруг моих — не холодными и промокшими от дождя, как на похоронах — и он поднял меня на ноги с устойчивостью, от которой мой живот сделал что-то странное.

Он вложил верёвку змея в мои руки, его пальцы коснулись моих ладоней, пока он поправлял мою хватку. — Нуж-

но держать вот так, — сказал он, его голос понизился до чего-то более тихого, более сосредоточенного. — Не слишком туго. Не слишком слабо. Просто устойчиво.

— Устойчиво, — повторила я.

— Устойчиво. Как твоё сердцебиение, — он замолчал, и его щёки стали розовее. — *Моё сейчас бьётся очень быстро*, вообще-то. Не знаю почему.

Я посмотрела на него, на румянец, расползающийся по его лицу, на то, как он не совсем встречал мои глаза и почувствовала, как мои собственные щёки стали тёплыми. — Может, ты болен, — предположила я.

— Я не болен, — его брови сложились в одну линию.

— Может, у тебя аллергия на траву?

— У меня нет аллергии на траву, Лиди.

— Тогда, может... — я остановилась, потому что он потянулся и мягко снял одолженные солнцезащитные очки с моего лица. Мир стал внезапно ярче, резче, и я моргнула на него сквозь нефильтррованный солнечный свет.

— Они падали, — сказал Чес немного торопливо. — Ты всё время задвигала их обратно. Я хотел... — Он остановился, очки свисали с его пальцев, его лицо теперь было очень определённо красным. — *Я хотел увидеть твои глаза*. Без очков. Они очень... они красивые. *Твои глаза*. Они красивого цвета.

Я уставилась на него. Моё сердце делало что-то странное — трепещущее, скачущее, чего я никогда раньше не чув-

ствовала. — Ты очень красный, — сказала я.

— Я знаю, — он выглядел так, будто хотел, чтобы земля поглотила его. — Моё лицо делает это. Это очень раздражает. Моя мама говорит, это потому что у меня чувствительные кровеносные сосуды.

— Я думаю, это потому что ты ко мне равнодушен.

Его глаза расширились. — Я... это... — Честер тяжело сглотнул, его горло дёрнулось. — Может быть. Возможно. Я не знаю. Я никогда... — он сунул очки обратно ко мне. — Вот. Тебе стоит надеть их обратно. Солнце очень яркое.

Я посмотрела на него, и случилось что-то странное. Его лицо стало розовым. Не просто слегка розовым — по-настоящему розовым, цвет распространялся от щёк к ушам, к кончикам скул. Он быстро отвёл взгляд, но недостаточно быстро.

— Твоё лицо опять красное, — объявила я.

— Это солнце, — пробормотал он, очень пристально глядя на змея.

— Это не солнце. Солнце вон там. — я указала в противоположную от него сторону. — Твоё лицо красное из-за меня.

— Твоё лицо тоже красное.

— Я знаю почему, — сказала я, чувствуя, как ухмылка расплзается по лицу. — Это *потому, что ты мне нравишься*.

Он издал сдавленный звук, который мог быть словом, а мог быть кашлем. — Может, мы... может, просто запустим

змея?

— *Потому что я тебе тоже нравлюсь,* — продолжила я, потому что я была в ударе теперь и хотела посмотреть, насколько более розовым может стать его лицо. — Вот почему твоё лицо красное. *Вот что происходит, когда кто-то тебе нравится.* Оливия однажды сказала мне. Это называется *быть влю*—

— Лиди... — со стоном прервал он меня на полуслове.

Я взяла очки, но не надела их. Вместо этого я потянулась вверх и прижала ладонь к его щеке — так, как моя мама делала, когда проверяла, нет ли у меня жара. Его кожа была тёплой, почти горячей и я почувствовала, как он совершенно замер под моим прикосновением.

— *Твоё сердце бьётся быстро,* — сказала я. — И твоё лицо красное, и ты принёс мне змея, которого сделала твоя мама. Я думаю, это значит, что мы друзья.

— Я тоже так думаю, — сказал он, его голос едва громче шёпота.

— Хорошо, — я отдернула руку и улыбнулась ему — настоящей улыбкой, самой широкой из тех, что мне удавались за шесть дней. — Тогда перестань быть красным и покажи мне, как запускать этого змея.

Он засмеялся — удивлённый, слегка запыхавшийся звук — и напряжение в его плечах, казалось, растворилось. — Ладно, — сказал он. — Ладно. Смотри на меня.

Он запустил змея отработанным движением запястья, и голубая ткань немедленно поймала ветер, взмывая в яркое октябрьское небо, как птица, выпущенная из клетки. Перьевой хвост развевался за ним, белый на фоне голубого, и я стояла там с верёвкой в руках, чувствуя его тягу — стойкую, сильную и удивительно мощную.

— Он работает! — закричала я и мой возглас вышел высоким, ярким и таким совершенно полным радости. — Чес, он работает!

— Конечно, он работает. Моя мама его сделала.

С другого конца лужайки Бэйтс издал возмущённый вой. — Как это у Фримана получилось запустить змея? Это нечестно! Он жульничает!

— Он не жульничает! — крикнул в ответ Дэйвон. — Он просто лучше тебя в змеях!

— Нет такого понятия «лучше в змеях»!

— Очевидно, есть, и Фриман — это оно! Прими своё поражение!

Я повернулась к Честеру, всё ещё держа верёвку, пока змей тянул против ветра. — Они будут спорить об этом часами.

— Вероятно. Они спорили и на похоронах тоже. Дэйвон назвал меня интеллектуально строгим.

— Я думала, он назвал тебя раздражающим.

— Это позже. После того, как я поправил его насчёт динозавров.

Я снова засмеялась, и звук ощущался странно в горле — ржавым от неиспользования, но настоящим. Честер посмотрел на меня, его лицо всё ещё слегка розовое, и та почти-улыбка дрогнула в уголке его рта.

— Что? — спросила я.

— Ничего. Ты просто... — Он опустил голову, потирая заднюю часть шеи. — Ты выглядишь счастливой. Это приятно. Тебе стоит выглядеть счастливой чаще.

Моё сердце снова сделало эту трепещущую штуку.

— Я постараюсь, — сказала я. — Если ты будешь продолжать приносить мне змеев.

— Я могу это делать. Моя мама сделает ещё. Она любит проекты.

Змей взмывал выше, и солнце палило, и где-то позади нас мальчишки всё ещё спорили об аэродинамике и правильной технике верёвки. Но я не слушала их. Я смотрела, как голубой змей забирается в октябрьское небо, и думала о мятном мороженом, и клятвах на мизинцах, и странном, серьёзном мальчишке рядом со мной, чьё лицо становилось красным, когда я прикасалась к нему.

— Спасибо, Чес, — сказала я тихо. — Что пришёл и за змея.

Он посмотрел на меня, и его глаза были такими яркими. — Я дал клятву на мизинцах, — сказал он просто, пожав плечами. — Я говорил тебе.

Я подозвала его ближе, вытянув свободную руку от груди

и выгнула мизинец ему навстречу.

— Клятва на мизинцах, Чес?

Он подошел, решительно обхватив мой мизинец своим, сжимая его крепче.

— Клятва на мизинцах, Лид.

И я улыбнулась.

И впервые за шесть дней тяжесть в моей груди ощущалась как что-то, что я могла нести.

ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Лидия

15 октября 2004 года

— Папочка, папочка, смотри какие красивые кусты! — восторженно пищала я, когда мы миновали огромные ворота дома Фриманов и проезжали аллею из низко посаженных деревьев, выстриженных до идеала. — Они такие необычные.

— Я вижу, солнце, вижу, — проговорил папа, управляя штуковиной, которая была рулем машины, но он в шутку называл ее "штурвал". Прямо как в кабине самолета. — Потерпи еще немного, Лидия, мы уже месте.

— Папочка, а я смогу увидеть Честера?

— Обязательно увидишь, милая.

Через две минуты автомобиль уже был припаркован прямо у входа огромного викторианского особняка, у которого была одна большая центральная лестница по середине и двое

запасных боковых размером поменьше. Я ахнула от восторга.

Этот дом слишком большой. Почти что замок принцессы.

Отстегнув ремень, я выскочила из машины первой, двигаясь на безудержной энергии предвкушения от встречи с моим новым другом.

Папа обошел автомобиль, держа в руках брелок и сигнализация пискнула, уведомив о том, что металлические двери заперлись и заблокировались.

Я весело подпрыгнула, хлопнув в ладоши. — Скорее, скорее, папочка!

— Ты маленькая ракета, спокойнее, — он рассмеялся, становясь рядом, чтобы взять меня за руку. — Итак, я обсужу некоторые дела с мистером Фриманом, а ты поиграешь с Честером. По рукам? — он подставил мне кулачок, напомнив о нашем маленьком ритуале соглашений.

— По рукам! — энергично отбив его, я звонко прохихикала, а затем взяла его за руку и мы начали подниматься по большой лестнице.

Мои туго заплетенные косы прыгали из стороны в сторону, пока я перепрыгивала через каждую ступеньку, а новые кеды поскрипывали от прыжков, но мне было всё равно. Мне было так весело от того, что я снова увижу Чеса, что ничто другое не имело большего значения, чем это.

— Мистер Уолтер, — тетя горничная кратко поклонилась нам, как будто мы были королевскими особами, когда мы во-

шли вовнутрь и указала рукой в направление, куда нам двигаться дальше.

Мы пересекли огромный холл, от которого у меня перехватило дух, так по-волшебному здесь было — красиво и роскошно. Как храм и дворец одновременно. Больше всего я удивилась габаритной хрустальной светящейся люстре на потолке. Я бы хотела, чтобы у нас дома висела точно такая же.

От рассматривания предметов декора меня прервал женский голос, несущий в себе тысячи оттенков чего-то тёплого и очень мягкого. Я повернула голову и мой взгляд встретил маму Честера, стоящую в дверном проёме, который, судя по всему, вёл в столовую.

— Лидия! — она всплеснула руками и я увидела, как её глаза засветились. — Как я рада тебя видеть снова, милая!

— Здравствуйте, Ли... Лилисия, — сказала я, старательно выговаривая имя с улыбкой до ушей.

— Умница, — она перевела взгляд на папу. — Ройс, добро пожаловать. Сэйнт ждёт вас в кабинете. А Лидию я, с вашего позволения, заберу, Честер с самого утра места себе не находит.

— Моя дочь тоже не давала мне покоя последние два дня, — сухо произнёс папа и в его голосе промелькнуло что-то похожее на веселье.

— Значит, они стоят друг друга, — Лилисия подмигнула мне и указала на лестницу. — Честер наверху, в своей ком-

нате. Он что-то мастерил всё утро. Сказал, что это сюрприз.

— Он сделал мне ещё одного змея? — выпалила я, подпрыгивая на месте.

— Этого я не могу раскрыть, — она приложила палец к губам, но её глаза смеялись. — Беги. Он тебя ждёт.

Я сорвалась с места, моя подошва вновь закрипела по мраморному полу.

— Лидия! Не беги! Ты поскользнёшься! — крикнул папа мне вслед.

— Я не поскользнусь, папочка! Я очень устойчивая!

И тут сверху раздался голос, который я узнала бы из тысячи:

— *Лиди!*

Честер стоял на верхней ступеньке, вцепившись одной рукой в перила, а другой прижимая к груди что-то жёлтое, что трепыхалось и шуршало. Его волосы были растрёпаны пуще обычного, а на щеке и джемпере красовались пятна, подозрительно напоминающие акварельную краску.

— *Чи!* — завопила я, забыв про люстру и про все правила поведения, которые папа вдальбливал мне в голову последние полчаса в машине. Я понеслась к лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

Честер двинулся мне навстречу, всё ещё прижимая к себе жёлтую штуковину и когда я подлетела к нему, то остановилась так близко, что наши кеды почти соприкоснулись.

— Ты пришла, — сказал он, и его странные глаза — се-

ро-зелёно-коричневые, переливающиеся в свете люстры, были широко распахнуты, будто он до конца не верил, что я действительно стою перед ним.

— Ты сомневался? — я упёрла руки в бока, копируя жест, который видела у Оливии, когда она отчитывала мальчиков.

— Нет. Да. Немного, — он переступил с ноги на ногу. — Папа сказал, что вы приедете, но папа много чего говорит и не всё всегда сбывается, так что я не был уверен на сто процентов, но я надеялся, мама сказала, что надежда — это уже половина дела и...

— Чес, — я ткнула его пальцем в грудь, прямо в то место, где на зелёном джемпере красовалось небольшое пятно от краски. — Ты опять тараторишь.

— Я не тараторю. Я делюсь информацией.

— Ты тараторишь, — я наклонилась ближе, изучая пятно. — А ещё ты испачкался. Что это?

Он опустил взгляд на свою грудь, и его щёки немедленно начали розоветь. — Это акварель. Я рисовал. Ну, пытался. Мама сказала, что искусство помогает успокоить нервы, но я, кажется, делаю это неправильно, потому что больше краски оказалось на мне, чем на бумаге.

— Ты нервничал?

— Немного, — он снова переступил с ноги на ногу. — Из-за того, что ты приедешь. Я хотел, чтобы всё было хорошо.

Я почувствовала, как мои собственные щёки стали тёплыми и широко ему улыбнулась. — Ты хотел, чтобы всё было

хорошо из-за меня?

— Не надо так радоваться. Это неловко.

— Это мило, — я схватила его за руку, ту, что не прижимала жёлтую штукювину к груди. — Что это у тебя?

Он опустил взгляд, будто забыл, что держит это. — А. Это, — он протянул предмет мне и я увидела, что это воздушный змей — ярко-жёлтый, с хвостом из тонких белых лент, которые трепетали в воздухе от малейшего движения. — Я сделал его. Мама помогала с каркасом, но ткань выбирал я. Жёлтый — это цвет солнца. А тебе нужно солнце. И я подумал — если солнце не всегда выходит, может, змей цвета солнца поможет тебе, когда пасмурно.

Я уставилась на змея. На жёлтую ткань, на белые ленты, на крошечные стежки по краям, которые мог сделать только ребёнок — немножко кривые, немножко неровные, но совершенно, необыкновенно прекрасные.

— Ты сделал это для меня, — сказала я шёпотом. — Потому что мне нужно солнце.

— Да, для тебя, — сказал Чес очень быстро, очень тихо, будто слова вырвались сами и тут же устоялся на свои кеды с такой интенсивностью, словно они внезапно стали самым интересным объектом во вселенной. — Это не... Я не странный. Просто мне не в тягость делать что-то для важных людей, когда я сам этого хочу.

— Я важный человек?

Он сглотнул. — Ты... Да. Ты важная. Очень.

— Ты красный, Чи.

— Я знаю. Пожалуйста, не смотри.

— Не могу. Ты слишком интересный.

— Я не интересный. Я обычный.

— Ты сделал мне двух змеев за шесть дней. Ты не обычный, — я прижала жёлтого змея к груди. — Это самый красивый подарок, который мне когда-либо дарили. Даже лучше, чем мятное мороженое.

Уголок его рта дрогнул той самой почти-улыбкой, которую я уже научилась распознавать. — Мятное мороженое было довольно хорошим.

— Это лучше, — я схватила его за руку и потащила вверх по лестнице, жёлтый змей хлопал меня по ногам, пока мы бежали. — Показывай свою комнату! И остальных змеев! Ты обещал тогда!

— Я не обещал, я просто упомянул...

— Это то же самое! Показывай!

Он пробормотал что-то про «определения слов» и что-то, чего я не поняла, но его пальцы сжались вокруг моих, и он не отпустил.

Комната Честера находилась в конце длинного коридора на втором этаже. Дверь была приоткрыта и изнутри доносился слабый запах краски и бумаги. Когда мы вошли, я остановилась на пороге и медленно повернулась кругом, пытаясь охватить взглядом всё сразу.

Это была самая необычная комната, которую я когда-ли-

бо видела. Не просто спальня, а целый музей мальчика, который коллекционировал вещи.

На одной стене висела карта звёздного неба с крошечными светящимися точками, которые слабо мерцали в полумраке. На другой — полка, заставленная книгами, некоторые из которых выглядели такими старыми, что их корешки почти рассыпались. На подоконнике выстроились в ряд пять воздушных змеев — синий, зелёный, красный, оранжевый и тот самый голубой, который мы запускали у Блэйков.

А на полу, окружённый разбросанными листами бумаги и акварельными красками, лежал большой лист картона с наброском нового змея — фиолетового, с какими-то сложными узорами по краям.

— Ты всё это сделал? — спросила я, опускаясь на колени рядом с картоном, всё ещё прижимая жёлтого змея к груди.

— Ну, не всё. Книги — это папины, он разрешил их держать у меня. А карту подарила мама на Рождество, — он опустил на корточки рядом со мной, его плечо почти касалось моего. — Змеев я сделал сам. Ну, с маминой помощью. Она говорит, что у меня «склонность к ручному труду».

— А рисунок?

Он посмотрел на картон с фиолетовым змеем и его щёки снова начали розоветь. — Это следующий. Я думал сделать его для тебя, но потом решил, что жёлтый лучше.

Я провела пальцем по краю картона, по изогнутым линиям узора. — Какой он будет?

— Фиолетовый. С серебряными лентами, — Чи замолчал, его пальцы теребили край джемпера. — Мама сказала, что фиолетовый — цвет королей. И что ты заслуживаешь королевского змея.

— Твоя мама говорит очень правильные вещи.

— Она говорит очень много вещей. Иногда я не успеваю запоминать.

Я засмеялась и толкнула его плечом — легонько, как Оливия и мальчики иногда толкали меня. — Ты запоминаешь всё. Ты сам сказал.

— Я помню важные вещи, — поправил он, его голос стал тише. — То, что говорят важные люди.

Я повернулась к нему и наши лица оказались очень близко, так близко, что я видела крошечные золотые крапинки в его серо-зелёно-карих глазах.

— Твоё лицо опять красное.

— Я знаю, — он закрыл глаза ладонью. — Это становится стандартной реакцией.

— Тебе нужно пере... Подожди, что?

Честер убрал ладонь от лица и посмотрел на меня — прямо, без увёрток, своими невозможными глазами. — Я просто хотел, чтобы ты улыбалась. После похорон. После всего. Ты была такая грустная, и я подумал... Я подумал, что если я буду приносить тебе вещи, которые летают, может быть, ты тоже... — он осёкся, подбирая слово. — *Может быть, ты тоже взлетишь. Совсем чуть-чуть.*

В комнате стало очень тихо. Даже жёлтый змей перестал шуршать.

Я протянула руку и прижала ладонь к его щеке. Так же, как в прошлый раз, когда проверяла, нет ли у него жара. Его кожа была тёплой и он замер под моим прикосновением, не двигаясь.

— *Я уже лечу*, — сказала я. — Благодаря тебе.

Дверь скрипнула и мы оба обернулись. В проёме стояла Лилисия, держа поднос с двумя чашками и тарелкой печенья. Её улыбка выглядела тёплой и понимающей.

— Я принесла какао, — объявила она. — И печенье. Надеюсь, вы не против, что я прерываю... Что бы это ни было.

— Мама! — Честер вскочил на ноги, его лицо снова стало пунцовым. — Мы просто... я показывал ей змеев! Это не...

— Я знаю, милый, — Лилисия поставила поднос на стол и опустилась на корточки рядом со мной, её движения были плавными и мягкими. Она посмотрела на меня прямо, без той снисходительности, с которой взрослые обычно смотрят на детей и сказала: — Честер очень много о тебе говорил, Лидия. Почти каждый вечер.

— Мама! — простонал Честер с другого конца комнаты, его лицо теперь было цвета свёклы.

— Что? Это правда, — она подмигнула мне.

— Он сказал, что вы делаете самых быстрых змеев, — выпалила я, радуясь, что могу поделиться. — И самое вкусное мятное мороженое, — добавила я от себя.

Лилисия рассмеялась мягким музыкальным смехом. — Похоже, Честер выдал все мои секреты, — она протянула мне чашку с какао. — Держи. И печенье тоже. С шоколадной крошкой.

Я взяла чашку обеими руками. Какао было горячим и сладким. — Спасибо, Лилисия.

— Всегда пожалуйста, милая, — она заправила выбившуюся прядь волос мне за ухо — жест настолько нежный, похожий на мамочкин, что мои глаза защипало. — Я оставлю вас. У вас, кажется, было что-то важное.

Она вышла, закрыв за собой дверь и Честер медленно выдохнул. — Она всегда так делает. Появляется в самые неловкие моменты. Это её суперспособность.

— Мне нравится твоя мама.

— Всем нравится моя мама. Она самая приятная из всех мам.

Я отпила ещё какао и посмотрела на жёлтого змея, лежащего у меня на коленях. — Знаешь, что я подумала?

— Что?

— Что нам нужно запустить его. Прямо сейчас. Пока солнце не село.

Честер посмотрел в окно, где октябрьское солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в бледно-золотые и розовые тона. — У нас есть восточные сады. Там всегда ветер. И мама разрешает запускать змеев где угодно, кроме гостиной.

— Ты запускал змея в гостиной?

— Один раз, потому что было дождливо. Я разбил вазу. Мама сказала, что это был «учебный опыт».

Я засмеялась громко и искренне, так, как не смеялась уже много дней. — Тогда пошли.

Мы схватили жёлтого змея и побежали вниз по лестнице, мимо папы и мистера Фримана, которые всё ещё разговаривали в холле, мимо горничной, проводившей нас удивлённым взглядом, через заднюю дверь и прямо в восточные сады — раскидистые, зелёные, с огромными дубами и кустами роз, которые уже отцвели к октябрю, но всё ещё хранили слабый сладкий аромат.

Ветер дул ровно и сильно, и когда Честер запустил жёлтого змея, тот взмыл в воздух немедленно. Быстрее, чем голубой, быстрее, чем любой змей, который я когда-либо видела. Белые ленты развевались за ним, а жёлтая ткань сияла в закатном свете, как маленькое солнце.

— Он летит! — закричала я, чувствуя, как верёвка натягивается в моих руках. — Чес, он летит выше всех!

— Я же говорил. Жёлтый — самый быстрый.

— Ты говорил это про каждого змея.

— Потому что каждый следующий — самый быстрый. Это называется прогресс.

Я повернулась к нему, всё ещё держа верёвку и увидела, что он смотрит не на змея, он смотрел на меня. Его лицо было освещено закатом и его странные удивительные глаза

были мягкими и тёплыми.

— Что? — спросила я.

— Ничего, — он быстро отвёл взгляд, его щёки снова порозовели. — Просто ты улыбаешься. Я же говорил. Тебе идёт.

Я почувствовала, как мои собственные щёки вспыхнули и дёрнула верёвку, заставляя змея подняться ещё выше. — Спасибо, Чес.

— За что?

— За то, что знаешь про солнце. За то, что делаешь мне змеев. За то, что твоя мама делает самое вкусное какао. За всё.

Он подошёл ближе, встал рядом со мной, и его плечо коснулось моего. — Ты не одна, Лиди. Я обещал. Клятва на мизинцах, помнишь?

— Помню, — я протянула свободную руку, оттопырив мизинец. — Клятва на мизинцах, Чес?

Он обхватил мой палец своим, крепко, уверенно. — Клятва на мизинцах, Лид.

И мы стояли там в саду особняка Фриманов, двое семилеток, держась за мизинцы и глядя, как жёлтый змей забирается всё выше в закатное небо.

Ветер трепал наши волосы, солнце опускалось за дубы и где-то далеко-далеко за бледным октябрьским горизонтом, звёзды уже начинали просыпаться.

Я знала, что они улыбаются.

Чес сказал мне это в самый трудный день моей жизни.

И теперь, стоя здесь, с верёвкой в одной руке и его мизинцем в другой, я наконец-то почувствовала, что могу улыбнуться в ответ.

ПРОЩАНИЕ БЕЗ ПРОЩАНИЯ

Честер

16 октября 2004 года

— Леди и джентльмены, наш самолет преодолел отметку в десять тысячи фунтов, — я увидел как иконка ремня безопасности надо мной перестала гореть. — В течение тридцати минут вам будет предоставлено обслуживание: напитки и горячее питание. Обслуживание начнется с первого класса. Приятного полёта.

Я сразу же отстегнулся, взяв в ладонь игрушечный самолёт, приобретенный в дюйти-фри, распахнул свою кабинку и обнаружил, что на соседнем кресле через проход мама уже спала, натянув маску для сна на лицо. Папа сидел рядом с ней, облокотившись плечом к плечу и что-то задумчиво печатал на своем ноутбуке.

Меня выдернули из сна сегодня под утро и сказали, что нам придётся улететь из города на определённый срок. Мои вещи уже были упакованы, мама нервно улыбалась, думая, что я не замечаю, а папа был сосредоточеннее обычного. Мне это не нравилось. Больше всего мне не нравилось, что я не

мог попроситься с Лиди.

Мы провели хороший вечер с воздушными змеями, какао и макетами рисунков будущих инсталляций, которые вместе собирались воплотить в жизнь. Но теперь у меня это нагло собирали и увозили обратно в Лондон, не объясняя ни единой причины. Я не понимал, к чему такая срочность и спешка, но предполагал, что это как-то было связано с папиной работой.

— Папа, — я выскользнул из кабинки, встав в проходе.
— Когда мы прилетим?

Он медленно повернул голову на меня, отрывая пальцы от клавиатуры. Теплая полуулыбка, которая передалась и мне, тронула его губы. — Совсем скоро, сынок, потерпи немного. Возвращайся обратно и попытайся поспать.

— Я не хочу спать, я хочу узнать, почему мы уехали. Почему так быстро? Я больше не смогу увидеть Лидию?

На мгновение выражение его лица осветилось чем-то, что я не смог расшифровать, но затем он небрежно потрепал меня по голове, взлохматив волосы.

— Увидишь, конечно увидишь, даже не сомневайся, — он взял меня за руку. — Просто нужно немного подождать, понимаешь? Ты можешь делать это для меня и для мамы, сынок?

— Я не хочу ждать, папа, — мой голос накренился, став более уязвимым. Я почувствовал горечь обиды на корне языка. — Я хочу играть с Лидией, делать ей новых воздушных

змеев, веселиться и есть мятное мороженое.

— Я понимаю, — он кивнул. — Но знаешь, что?

— Что?

— Ждать — это не плохо. Особенно, когда это касается близких тебе людей, — папа украдкой бросил взгляд на маму и вздохнул, когда повернулся обратно. — Когда ты ждешь — это значит, что ты силён достаточно для всех обстоятельств, выпадающих на твою долю и делаешь всё для того, чтобы защитить дорогих тебе людей. Лидия дорога тебе, не так ли?

— Дорога, — энергично закивав, я тяжело сглотнул. — Очень дорога.

— Тогда сделай всё для того, чтобы эта девочка оставалась в безопасности, хорошо?

Я слышал, как началось обслуживание, стюардессы показали тележки по рядам, но меня это мало волновало в данный момент времени. Я мог думать только о Лиди и о том, как скоро увижу её вновь.

— Как я могу сохранить её в безопасности, если она не рядом со мной? — я перевёл хмурый взгляд на отца. — Как я могу защитить ее, если я не рядом с ней?

— Расстояние — не фактор неспособности защитить, — он немного помедлил, прежде чем возобновить речь. — Это фактор того, что ты достаточно силён, находясь далеко и не переставая защищать ее теми воспоминаниями, которые вы уже успели построить, — папа снова взлохматил мои волосы и затем сразу же их пригладил. — Она будет помнить о тебе,

она будет знать, что ты был в ее жизни, вот, что делает это важным. Знание о том, что тот или иной человек был в твоей жизни и оставил в ней значительный след и цепочку теплых моментов.

— Прямо как клякса?

Папа приглушенно засмеялся, я видел, как провибрировала его грудь и мышцы лица стали более расслаблены. — Что-то в этом роде, Честер, что-то в этом роде.

— Это значит я скоро её увижу? — я выпятил нижнюю губу, чувствуя, что этот диалог совсем не о том, о чем я спрашивал вначале.

— Терпение — добродетель, сын. Ты ждал эту девочку семь лет. Ты можешь подождать еще немного, хорошо?

Свет в салоне мигнул раз, другой, затем успокоился в своём приглушённом свечении и где-то позади меня заплакал младенец — тонкий, пронзительный плач, прорезавший низкий гул двигателей. Я почти не слышал его. Мои уши всё ещё были полны слов папы, переворачивая их снова и снова, как гладкие камни, которые мама собирала у реки за особняком.

Ты ждал эту девочку семь лет. Ты можешь подождать ещё немного.

Я стоял в проходе, мои разные носки утопали в тонком ковре, игрушечный самолётик зажат в кулаке так крепко, что маленькие колёса впивались в ладонь. Семь лет. Я ждал Лиди семь лет — не потому, что знал, что жду, не потому, что

понимал, что значит ожидание, а потому, что искал её с того дня, как родился, и даже не знал этого, пока она не посмотрела на меня сквозь серый октябрьский дождь и не назвала Чесом.

— Папа, — сказал я и теперь мой тон вышел странным, густым и дрожащим, будто я пытался говорить с полным ртом каши. — А что, если она меня забудет?

Он не ответил сразу. Он просто посмотрел на меня спокойными глазами, теми, что ничего не выдавали на деловых встречах, теми, что заставляли взрослых мужчин ёрзать на стульях, а затем сделал кое-что неожиданное.

Он закрыл ноутбук. Не так, как обычно закрывал — быстрым щелчком и вздохом — а медленно и обдуманно, петли скрипнули, как старая дверь. Он отложил его в сторону, на столик мамы, и наклонился вперёд, локтями на колени, его лицо на одном уровне с моим.

— Честер, — сказал он мягче, без того бодрого делового тона, который он использовал в разговорах с партнёрами. — Посмотри на меня.

Я посмотрел на него.

Его глаза были серыми, зелёными и коричневыми одновременно, как мои, как те, что я видел в зеркале каждое утро, когда чистил зубы. Мама всегда говорила, что я его миниатюра, вплоть до того, как я хмурил брови, когда слишком сильно задумывался.

— Ты помнишь, что ты сказал мне вчера вечером? —

спросил он. — Когда вернулся из сада?

Я покачал головой. Я не помнил. Вчера ощущалось как сто лет назад.

— Ты сказал: «Папа, я сделал ей змея цвета солнца, потому что ей нужно солнце». Ты сказал это так, будто это была самая очевидная вещь в мире.

— Это и была самая очевидная вещь в мире. Ей нужно солнце.

— Да, — он протянул руку и положил её мне на плечо. Тёплую и тяжёлую, ту же руку, что учила меня держать верёвку змея. — И ты дал ей его. *Ты дал ей солнце, Честер.* Ты думаешь, она забудет человека, который *дал ей солнце*?

Я уставился на него. Моё горло сжалось, а глаза делали что-то жгучее и горячее, и я не хотел плакать, потому что мне было семь лет, а семилетки не плачут в самолётах перед своими отцами. Но папа смотрел на меня так, будто понимал, будто чувствовал то же самое когда-то, давным-давно.

— Нет, — прошептал я. — *Она не забудет.*

— Правильно, — он сжал моё плечо. — Она не забудет. И ты не забудешь. А когда мы вернёмся...

— Когда? — слово вырвалось из меня резче, чем я хотел. — Ты всё время говоришь «когда», но не говоришь когда. Это может быть завтра или через неделю, или через сто лет и ты не говоришь!

Женщина через проход оторвала взгляд от журнала, её брови поднялись.

Мне было всё равно. Моё сердце колотилось о рёбра, а ладони вспотели вокруг игрушечного самолётика, и я так устал от взрослых, которые говорили вещи, ничего не значившие.

Папа не дрогнул. Он не сказал мне понизить голос или быть терпеливым, или что-то ещё из того, что всегда говорили взрослые. Он просто подождал, пока я закончу, а затем сказал, очень тихо:

— Через две недели.

Я моргнул. — Что?

— Мы вернёмся через две недели. Я не говорил тебе раньше, потому что... — он замолчал, бросив взгляд на маму, которая всё ещё спала, её маска для сна слегка съехала. — Потому что я не хотел давать обещание, которое не смогу сдержать. Но я узнал точно сегодня утром. Две недели. А пока... — он полез в карман пиджака и вытащил маленький сложенный листок бумаги и тяжёлую серебряную ручку, которую всегда носил с собой. — Ты можешь написать ей письмо. И когда мы приземлимся, мы найдём почтовый ящик и ты отправишь его. И она будет знать, что ты думаешь о ней. Что ты ждёшь.

Я взял бумагу и ручку. Бумага была помята по краям, вырвана из одного из папиных рабочих блокнотов, а ручка была холодной и гладкой и слабо пахла чернилами. Я поднял взгляд на него. — А что, если двух недель слишком много? Что, если она подумает, что я не вернусь?

— Тогда тебе придётся доказать ей обратное, — он отпу-

стил моё плечо и откинулся в кресле, давая мне пространство. — Когда вернёшься.

Я стоял там ещё мгновение, бумага слегка дрожала в моей руке. Затем я повернулся и пошёл обратно к своему месту. Я включил лампочку над головой — она слабо зажужжала, отбрасывая маленький, яркий круг на столик — и разгладил бумагу, прижимая складки основанием ладони. За окном небо было тёмным и бесконечным и полным звёзд.

Я думал о Лидди.

О том, как выглядело её лицо, когда она увидела жёлтого змея — открытое, яркое, полное радости такой яростной, что у меня заняло в груди. О том, как она прижала ладонь к моей щеке. О том, как она сцепила свой мизинец с моим и заставила меня пообещать из раза в раз.

Я начал писать.

Лиди,

Мы улетели. Я не хотел.

Письмо к Лидии лежало сложенным в кармашке моего кресла весь остаток полёта — маленький белый прямоугольник бумаги, который, казалось, пульсировал своим собственным теплом, будто слова, которые я написал, генерировали какой-то жар, который тонкий хлопок моих брюк не мог сдержать. Я постоянно тянулся вниз, чтобы коснуться его, мои пальцы задевали край сгиба, проверяя, что оно всё

ещё там.

Оно было там. Каждый раз оно было там.

Должно быть, я заснул в какой-то момент, потому что следующее, что я помню — рука мамы на моём плече и свет в салоне, ставший резким, искусственным, от которого у меня защипало глаза. За окном небо было бледным, размыто-серым, и самолёт снижался сквозь слой облаков, настолько густой, что я не видел земли.

— Мы приземляемся, милый, — сказала мама, её голос всё ещё хриплый от сна, её маска для сна сдвинута вверх в волосы. Она выглядела уставшей, более уставшей, чем когда мы улетали из Эксетера, линии вокруг её глаз глубже, её улыбка слегка истрепана по краям. — Ты хоть немного поспал?

— Немножко, — сказал я и это было правдой. Я спал фрагментами, уплывая и возвращаясь из снов, полных жёлтых змеев, серого октябрьского неба и девочки с голубыми глазами, которая прижала ладонь к моей щеке и сказала, что моё сердце бьётся быстро.

Самолёт коснулся земли с толчком, от которого у меня застучали зубы, а затем мы уже ехали к терминалу. Мама собирала свои вещи и папа уже был на телефоне — уже вернулся в деловой режим, его голос низкий и быстрый, слова вроде «безопасность» и «транспорт», и «никакой прессы» выскальзывали между его зубов, как секреты, которые мне не полагалось слышать.

Я разложил свой столик и вытащил письмо. Бумага была теперь немного помятой, сгибы углубились от того, что оно было прижато к моей ноге, но слова всё ещё были там. Я прочитал их ещё раз, беззвучно выговаривая формы.

Лиди,

Мы улетели. Я не хотел. Я не успел попрощаться. Папа сказал, что это срочно, но не объяснил почему. Взрослые всегда так делают. Говорят «срочно» и думают, что этого достаточно. Я скучаю по тебе, хотя мы виделись только вчера.

Я взял с собой фиолетового змея. Вернее, папа взял.

Он сказал, что нельзя оставлять важные вещи. Ты важная. Поэтому я тебе пишу.

Когда я вернусь, мы запустим змея снова.

Я обещаю. Клятва на мизинцах.

Чес.

Это было не длинное письмо. Не изысканное или поэтичное, или что-то из того, чем я хотел его сделать. Но оно было правдивым, каждое слово и это должно было что-то значить.

— Папа, — сказал я, отстёгивая ремень и выскальзывая в проход, где он уже стоял, его телефон всё ещё прижат к уху, его портфель в другой руке. — Папа, я закончил. Письмо. Для Лиди.

Он взглянул на меня, его глаза рассеянные, его внимание разделено между мной и тем срочным разговором, который происходил на другом конце линии. — Это хорошо, сынок.

Это очень хорошо.

— Мы можем его отправить? Ты сказал, мы найдём почтовый ящик. Когда приземлимся. Ты обещал.

Он поднял палец — секунду — и отвернулся, говоря в телефон тем же низким, быстрым голосом. Я стоял в проходе, письмо зажато в руке, пока пассажиры протискивались мимо меня со своими сумками и нетерпеливыми вздохами. Мама была позади меня, её рука мягко лежала на моём плече, направляя меня к выходу.

— Твой отец поможет тебе отправить его, — сказала она немного устало. — Просто дай ему минутку, милый. Он сейчас очень занят.

Но минуты растянулись в часы, а часы растянулись в хаос получения багажа, таможи и чёрной машины, которая ждала нас у терминала с водителем, который не улыбался. Папа был на телефоне всё это время, его голос ни разу не поднялся выше этого низкого, срочного бормотания, его свободная рука жестикулировала короткими резкими движениями, от которых водитель кивал и ускорялся. Я сидел на заднем сиденье, письмо всё ещё в моей руке, и смотрел, как Лондон скользит за окном в размытом пятне серых зданий и серого неба и серого всего.

— Папа, — сказал я снова, когда он наконец закончил один из своих звонков и откинулся на сиденье, его глаза закрылись на краткий, измученный момент. — Письмо.

— Да. Письмо, — он открыл глаза и повернулся ко мне

и на мгновение — всего на мгновение — он снова стал похож на себя. Того тёплого, вовлечённого отца, который учил меня держать верёвку змея, который положил руки мне на плечи в проходе самолёта и сказал, что я хороший друг. — Дай его мне. Я прослежу, чтобы его отправили.

— Ты обещаешь?

— Обещаю, — он взял письмо из моей руки, его пальцы коснулись моих и я почувствовал, как что-то ослабилось в моей груди, что-то, что было туго закручено с того момента, как я проснулся этим утром и мне сказали, что мы уезжаем. — Я обо всём позабочусь, Честер. Даю тебе слово.

Я поверил ему. Конечно, я поверил ему. Он был моим отцом, и он никогда не нарушал обещания, данного мне, ни разу за семь лет. Он сложил письмо аккуратно, более аккуратно, чем я его складывал и убрал его во внутренний карман своего пиджака, тот, что над сердцем.

— Вот, — сказал он. — В целости и сохранности. Я отправлю его, как только мы доберёмся до дома.

Я кивнул, и я откинулся на спинку сиденья, наблюдая, как Лондон продолжает скользить за окном и я позволил себе поверить, что всё будет хорошо. Письмо было в папином кармане. Папа обещал. А обещание папы было почти таким же серьёзным, как клятва на мизинцах.

ЭТО БЫЛА ЛОЖЬ?

Лидия

16 октября 2004 года

Утром после того, как Честер Фриман подарил мне жёлтого воздушного змея и пообещал на мизинце, что мы ещё увидимся, я проснулась с тем особенным, золотым чувством, что что-то хорошее ждёт меня сразу за краями этого дня.

Солнце просачивалось в окно моей спальни бледными октябрьскими лучами, выхватывая из воздуха пылинки и превращая их в блёстки, а внизу на кухне возился папа. Я слышала звон его кофейной чашки о столешницу и тихое бормотание радио.

Я потянулась под одеялом, сжимая и разжимая пальцы ног в холодных простынях и подумала, что сегодня снова увижу Чеса.

На моем лице тут же расплылась неожиданная улыбка, от которой мои щеки немного потрескивали. Я уже придумала, что ему скажу, прокручивая слова в голове, пока лежала и смотрела на танцующие пылинки.

Я собиралась сказать, что его жёлтый змей — самое красивое, что я когда-либо видела и что я повесила его на стену в своей комнате, чтобы видеть каждое утро, когда открываю глаза. Я собиралась спросить, закончил ли он фиолетового, того с серебряными лентами, того, про которого его мама сказала, что он достоин королевы. Я собиралась рассказать, что опять думала о том, что он говорил про звёзды, о том, как они могут видеть мою маму, даже если она не может видеть

их и что прошлой ночью перед сном я выглянула в окно и улыбнулась небу. Я улыбнулась небу впервые после похорон.

Я выскочила из кровати, босые ноги зашлёпали по холодному деревянному полу и я дёрнула дверцу шкафа с силой, которой требовалось куда меньше, ручка задребезжала в моей руке.

Любимый свитер — зелёный, с пуговицами в виде божьих коровок — лежал сложенный на средней полке, я натянула его через голову, шерсть зацепилась за косички, и волосы затрещали от статического электричества.

Самые крепкие кеды стояли у двери, шнурки до сих пор завязаны со вчерашнего дня. Я засунула в них ноги, даже не пытаюсь развязать.

Папа был на кухне, когда я с грохотом сбежала по лестнице, моя ладонь хлопала по перилам при каждом прыжке, а косички летели за мной, как бледные ленточки.

— Доброе утро, солнышко, — сказал он, опуская кофейную чашку с мягким звоном о блюдец. Его голос стал нежнее, чем раньше, тише, будто он всё ещё учился разговаривать со мной в комнате, где не было мамы. Газета была раскрыта на деловом разделе, страницы шуршали, когда он складывал их обратно. — Ты рано встала.

— Я пойду к Чесу, — объявила я, схватив ломоть тоста с тарелки на стойке и откусив с большим энтузиазмом, чем голодом. Корочка царапнула нёбо, но мне было всё равно. Я уже подпрыгивала на носках, кеды скрипели по линолеуму.

— Ты меня отвезешь? Мы можем поехать сейчас? Прямо сейчас?

Папа опустил кофейную чашку до конца, жидкость внутри слегка задрожала от движения. Что-то мелькнуло на его лице. Что-то быстрое и сложное, появившееся и исчезающее прежде, чем я успела это схватить и его пальцы сжались на ручке. — Лидия...

— Ты сказал, я могу его увидеть, — выпалила я, слова летели быстро и нетерпеливо, наполовину съеденный тост забылся в руке. — Ты сказал, мы можем вернуться. Ты обещал, папочка. Ты пообещал на кулачке, а ты говорил, что обещания на кулачках — самые серьёзные.

— Знаю. Знаю, что говорил, — Он поставил кофе на стойку с нарочитой, осторожной медлительностью — керамика щёлкнула о мрамор — и повернулся ко мне всем телом.

Его руки легли мне на плечи, тёплые и тяжёлые, и теперь я увидела, что глаза у него усталые, не та усталость после плохого сна, а усталость того, кто проснулся задолго до солнца и смотрел в потолок, думая о вещах, которые не хотел произносить вслух. — Но мы не можем поехать прямо сейчас. У меня встреча утром. Очень важная. А после неё...

— После неё мы сможем поехать? — Я подавала вперёд, прижимаясь к его рукам, рука с тостом опустилась, крошки рассыпались по полу.

— После неё — посмотрим.

«Посмотрим». Это то, что говорят взрослые, когда хотят

сказать «нет», но не решаются произнести это. Я выучила этот трюк много лет назад, когда мама только заболела, а врачи всё твердили «посмотрим», а потом ничего не случилось, кроме новых плохих новостей.

Мои плечи напряглись под его ладонями. — Но папа...

— Лидия, — он протянул руку и взял меня за щёку, ладонь тёплая и шершавая на моей коже, большой палец провёл по уголку рта, где засохло масло от тоста. — Я не говорю «нет». Я говорю «не прямо сейчас», — он поцеловал меня в лоб и выпрямился, его руки упали с моих плеч. Он потянулся к галстуку, поправляя узел быстрыми, натренированными пальцами, и взял портфель со стула у двери. — Оставайся сегодня в саду. Не уходи никуда. Я вернусь к обеду.

Он ушёл, входная дверь щёлкнула за ним и дом стал очень тихим без него. Я стояла на кухне, всё ещё сжимая тост, мой свитер с божьими коровками вдруг показался слишком ярким для серого утреннего света, давившего на окна. Я доела тост маленькими механическими укусами — жуй, глотай, жуй, глотай — и уставилась на часы на стене, следя за слишком медленно движущимися стрелками.

Я не хотела оставаться в саду. Я не хотела ждать до обеда. Я хотела увидеть Чеса.

Поэтому я сделала то, что сделал бы любой семилетний ребёнок в крепких кедах с сердцем, полным упрямства.

Я подождала ровно десять минут после того, как машина папы скрылась за поворотом, считая секунды шёпотом, паль-

цами отбивая ритм по бедру, а потом выскользнула через заднюю дверь. Петли мягко скрипнули и я зашагала прочь.

Особняк Фриманов находился на другом конце города за маленьким каменным мостом через реку. Я была там только раз, в папиной машине, но запомнила дорогу. Я запомнила высокие железные ворота, длинную подъездную аллею, обсаженную деревьями, и большой каменный дом, похожий на замок. Я шла, опустив голову, кеды шаркали по асфальту, дыхание вырывалось в холодный воздух быстрыми белыми облачками.

Дорога заняла почти час, носки промокли от мокрой травы на обочине, пальцы онемели, потому что я забыла перчатки, но когда я наконец обогнула последний поворот и увидела ворота, возвышающиеся передо мной, моё сердце подпрыгнуло — внезапный, полётный рывок, заставивший меня побежать последние несколько ярдов.

Ворота были закрыты.

Я остановилась у края подъездной дорожки, грудь ходила ходуном, ноги болели, я упёрлась руками в колени, чтобы отдышаться. Эти ворота — огромные, чёрные, железные, которые так величественно распахнулись, когда мы с папой подъехали на машине — были наглухо заперты, прутья холодные и неумолимые, кованые завитки наверху отбрасывали извилистые тени на гравий. За ними подъездная аллея тянулась вверх к особняку — пустая и неподвижная.

Ни огня в окнах. Ни машин у парадного крыльца. Ника-

ких признаков жизни вообще.

— Ау! — крикнула я и мой голос был проглочен огромной безмолвной территорией.

Я шагнула вперёд и схватилась за прутья обеими руками, железо впилося в ладони. Я прижалась лицом между прутьев и попробовала снова: — Ау! Это я! Это Лиди!

Ничего.

Только ветер в деревьях и далёкое карканье вороны где-то за особняком.

Я затрясла ворота, всем телом, напрягая мышцы рук. Они загрохотали, но не открылись.

— Чес! — закричала я громче, голос сорвался на краю. — Чес, я вернулась! Я хотела... хотела спросить, ты закончил фиолетового?

Тишина. Ворона каркнула снова. Ветер шевельнул мёртвые листья на дорожке, заставив их шарахаться по гравию, словно испуганных зверьков.

Глаза защипало. Горло сжалось. Я не собиралась плакать.

Мне семь лет, я пережила мамины похороны, я ела мятное мороженое под дождём и я не собиралась плакать только потому, что ворота закрыты. Я прижалась лбом к холодному железу, моё дыхание запотело на металле.

Где-то сбоку от подъездной дорожки открылась дверь, её петли заскрипели от старости. Вышел старик, сгорбленный, лицо морщинистое и выветренное, как карта неведомой мне страны. На нём был тёмный пиджак с заплатками на локтях

и низко надвинутая плоская кепка. Он двигался медленно, неторопливо, ботинки хрустели по гравию.

Он посмотрел на меня той особенной, мягкой жалостью, которая бывает у тех, кто видел много печальных детей в своей жизни и так и не смог к этому привыкнуть.

— Ты та юная мисс, что была здесь вчера, — сказал он, голос хриплый и низкий, как камни, катящиеся под гору. Он остановился в нескольких футах от ворот, сунув руки в карманы пиджака. — Та, что приезжала с мистером Уолтером.

Я кивнула, всё ещё сжимая прутья, костяшки побелели. — Я ищу Честера. Честера Фримана. Он мой друг, — слова вылетели торопливо, спотыкаясь. — Он сделал для меня змея. Жёлтого. Он сказал, что я могу вернуться. Он обещал.

На лице старика отразилось то же сложное выражение, как у папы утром: напряжение вокруг глаз, уголки рта дёрнулись вниз. Он снял кепку, медленно почесал затылок — седые волосы под кепкой встали дыбом. — Они уехали, мисс.

— Уехали? — слово показалось чужим во рту, каким-то неправильным.

— Уехали. Утром уехали. Ещё до восхода, — мужчина повертел кепку в руках. — Мистер Фриман, миссис Фриман и молодой хозяин. Все трое. Я просто садовник. Ухаживаю за садом. Куда — не сказали.

Слова ударили меня, как камень в грудь, как физический удар, выбивающий воздух из лёгких. Уехали. Уехали утром. Я отпустила прутья, руки упали по бокам, красные следы от

железа глубоко отпечатались на ладонях.

— Но он не... он не попрощался, — мой голос задрожал, сломался, рассыпался, как лёд на лужице. — Он обещал. Он дал клятву на мизинце. Клятву на мизинце нельзя нарушать. Он сам мне говорил. Он сказал, что это самая серьёзная клятва.

Старик ничего не сказал.

Просто стоял с кепкой в руках и смотрел на меня этими печальными, добрыми глазами, которые видели слишком много и не могли предложить ничего, кроме молчания.

— Он даже записки не оставил? — мой голос стал на октаву выше, но сорвался на последнем слове. Я чувствовала, как слёзы подступают к глазам и заморгала, пытаюсь их сдержать. — Он не сказал, что уезжает? Он просто... он просто ушёл?

— Мне жаль, мисс, — он медленно покачал головой, кепка всё ещё вертелась в руках. — Мне искренне жаль.

Я отпустила прутья.

Руки замёрзли и онемели, красные следы от железа бледнели, превращаясь в белые полосы на ладонях.

Я отступила от ворот — шаг, потом другой — и посмотрела на особняк.

На тёмные окна, уставившиеся на меня пустыми глазами. На пустую подъездную аллею, тянущуюся к парадному крыльцу. На небо, которое вдруг стало слишком серым, слишком тяжёлым, слишком похожим на то небо в день по-

хорон.

— Он сказал, что мы увидимся снова, — прошептала я.
— Он обещал. На мизинце.

Старик открыл рот, закрыл, потом ещё раз покачал головой — медленно, печально — и отвернулся. Он ушёл обратно в маленькую деревянную дверь, закрыв её за собой с тихим щелчком, который прозвучал громче, чем следовало и я осталась одна у ворот.

Не знаю, сколько я там простояла.

Достаточно долго, чтобы ноги онемели. Достаточно долго, чтобы нос начал течь. Я вытирала его рукавом снова и снова, пока ткань не стала влажной и колючей. Достаточно долго, чтобы с неба, которое собиралось в тучи всё утро, начали падать первые крупные капли дождя.

Они шлёпали по гравию, по моим щекам, по железным прутьям, которые всё ещё стояли между мной и всем, чего я хотела.

Он уехал.

Он уехал, не попрощавшись.

Он обещал — он поклялся на мизинце — и *нарушил клятву*.

Я развернулась, кеды захлюпали по мокрому гравию, и пошла домой.

Дождь усилился, промочив мой свитер с божьими коровками насквозь. Шерсть отяжелела и холодила кожу, волосы прилипли к лицу тёмными мокрыми прядями.

Я не побежала. Бежать значило бы, что мне не всё равно, а я очень старалась перестать переживать. Я очень старалась перестать чувствовать хоть что-нибудь.

До каменного моста я добралась, прежде чем слёзы всё-таки потекли — того самого моста, по которому мы с папой переезжали по дороге к особняку всего лишь вчера, когда всё ещё было — жёлтые змеи, мятное мороженое и клятвы на мизинцах.

Я остановилась посреди моста, руки опустились на холодный мокрый каменный парапет, и я стояла, грудь ходила ходуном, дождь стекал по лицу, смешиваясь со слезами, которые я больше не могла сдерживать.

Я села на влажный камень, свесив ноги над краем, и смотрела, как река несётся внизу — тёмная, быстрая, полная дождевой воды, поглощающая себя снова и снова.

Я думала о жёлтом змее, висящем на стене моей спальни. Я думала о мятном мороженом — холодном, сладком в серый октябрьский день, о том, как оно таяло на моих пальцах. Я думала о том, как Чес смотрел на меня, когда я сказала, что его сердце бьётся слишком быстро, как его лицо стало розовым, как его странные, меняющиеся глаза были такими спокойными, такими уверенными.

Как он сцепил свой мизинец с моим, сжал покрепче и сказал: «*Обещаю*».

— *Ты солгал*, — прошептала я реке, голос рассыпался на куски. — Ты солгал, Чес. Ты сказал, что мы ещё увидимся.

Ты сказал, что никогда не нарушаешь обещаний.

Река не ответила.

Дождь всё падал, покрывая рябью тёмную воду внизу. И я сидела на мосту, кеды болтались над водой, свитер с божьями коровками промок насквозь и я плакала, пока у меня ничего не осталось.

ТОСКА

Лидия

23 октября 2004 года.

Я не слышала ничего о Честере Фримане неделю.

Целую неделю, несмотря на мои настойчивые допросы папочки, который наотрез отказывался хоть как-то комментировать внезапный уезд моего друга, говоря, что он ничего не знает.

Я не верила. Конечно, я не верила.

Честер никогда бы так со мной не поступил, он бы не бросил меня, он бы не уехал, оставив меня ни с чем.

Но как бы я не пыталась копнуть глубже к истине, все время я упиралась в невидимую стену из безмолвного молчания взрослых и всех тех, кто был причастен к неожиданной пропаже моего друга.

Я даже не знала, как могла связаться с ним. Потому что у меня не было ничего: ни номера, ни почты, ничего.

Я просила у папочки позвонить Чесу, — умоляла — но

получала отказ за отказом с объяснением того, что он сам не мог дозвониться до Ройса Уолтера последнюю неделю, чтобы решить какие-то взрослые деловые вопросы, которых я никогда не понимала.

Последнюю неделю папочка стал более напряженным, более взвинченным, каким я видела его, быть может, дважды в жизни и каждый раз его ураганы успокаивала мама.

Но мамочки не было, а вместе с этим раздраженность папы росло в геометрической прогрессии.

— Папа, — сказала я, соскальзывая на свой стул за обеденным столом на седьмой вечер, мой голос нёс тот особенный, измочаленный край вопроса, который я задавала уже сотню раз. — Мы можем позвонить Чесу сегодня? Пожалуйста? Просто попробовать? Ещё один разочек?

Рука папы, та, что держала вилку, зубья которой пронзали кусок жареного ягнёнка, к которому он едва притронулся, сжалась. Его костяшки побелели на серебре, и когда он поднял на меня взгляд, его глаза не были усталыми, нежными глазами человека, который обхватил мою щёку и назвал меня солнышком.

Они были чем-то другим. Чем-то более острым. Чем-то, что я не узнавала.

— Ради бога, Лидия, — сказал он, и его голос хлестнул через стол, как кнут. — Сколько раз мне тебе повторять? Я не знаю, где они. Я не могу с ними связаться. Никто не может с ними связаться.

— Но если ты просто попробуешь ещё раз...

— Я пробовал. Я пробовал каждый день эту неделю. Я звонил им домой, в офис, их поверенному. Ничего, — он опустил вилку со стуком, звук разнёсся от стен столовой, и его стул скребнул по полу, когда он отодвинулся. — У меня есть реальные проблемы, с которыми нужно разбираться. Взрослые проблемы. У меня нет времени гоняться за мальчишкой, который, вероятно, даже не помнит твоего имени.

Слова ударили меня, как физический удар, выбив дыхание из лёгких.

Я уставилась на него, моя собственная вилка застыла на полпути ко рту, и я почувствовала, как что-то внутри меня — что-то маленькое и хрупкое и всё ещё цепляющееся за надежду — треснуло ровно посередине.

— Он помнит моё имя, — прошептала я, мой голос едва громче вдоха. — Он подарил мне змея. Он дал клятву на мизинцах.

— Клятвы на мизинцах, — сказал папа, и его губа скриivilась вокруг слов, будто они были горькими на вкус. — Для детей. Тебе нужно перестать быть ребёнком, Лидия. Ты понимаешь меня? Тебе нужно повзрослеть.

Я не ответила.

Я не могла.

Моё горло закрылось полностью, а глаза щипало, и жареный ягнёнок на моей тарелке расплылся в коричневое пятно. Папа стоял там ещё мгновение, его грудь вздымалась, его

челюсть сжата, а затем он повернулся и вышел из столовой без единого слова. Его шаги эхом разнеслись по коридору, а затем входная дверь хлопнула, и я осталась одна.

Дом погрузился в тишину вокруг меня в ту тишину, что давит на барабанные перепонки и заставляет собственное сердцебиение звучать слишком громко.

Я сидела за столом, сложив руки на коленях и смотрела на пустой стул, где сидел папа. Стул, где раньше сидела мамочка, до того, как она стала слишком больна, чтобы спускаться вниз. Стул, который пустовал месяцами до похорон, и всё ещё пустовал теперь и будет пустовать всегда.

Я думала о Честере.

О том, как его лицо стало розовым, когда он снял солнцезащитные очки с моего лица и сказал, что мои глаза красивого цвета. О том, как его пальцы были тёплыми вокруг моих, когда он помогал мне держать верёвку змея. О жёлтом змее, всё ещё висящем на стене моей спальни, его ленты безжизненные и неподвижные в стоячем воздухе.

Он обещал. Он дал клятву на мизинцах.

И он исчез, и папа был зол, и мамочка была мертва, и я сидела одна за обеденным столом, который был слишком велик для двоих, и ела жареного ягнёнка, который на вкус был как ничто.

Я отодвинула тарелку и положила голову на прохладное дерево стола, сложив руки подо мной и позволила слезам прийти. Не горячим, злым слезам похорон и не отчаянным,

ноющим слезам моста, а чему-то более тихому. Чему-то, что ощущалось как капитуляция.

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ЕЩЁ НЕ НАЙДЕН

Честер

25 октября 2004 года

Лондонский дом был не похож на особняк в Эксетере.

Он был меньше — высокий, узкий таунхаус на улице, полной других высоких, узких таунхаусов, с чёрной железной оградой вдоль парадных ступеней и окнами, выходящими на серый квадрат сада, где было больше камня, чем травы.

Пахло в нём тоже по-другому. Не свежим хлебом и розмарином и тем особенным тёплым ароматом маминой студии, но пылью, старой мебелью и чем-то слабо металлическим, как воздух перед грозой.

Мама пыталась сделать его похожим на дом.

Она распаковала наши вещи, те немногие, что мы смогли взять, те, что были брошены в чемоданы в те безумные, предрассветные часы. И она повесила мою одежду в шкаф, и поставила мои книги на полку, даже прислонила фиолетового змея к стене в углу моей новой комнаты, откуда я мог видеть его с кровати.

Но комната не ощущалась моей. Потолок был слишком высоким, окно слишком маленьким, а улица снаружи слишком тихой по ночам.

Я не жаловался. Я видел выражение маминого лица, когда мы приехали — как её глаза скользнули по пыльной мебели и голым стенам, как её рот сжался, прежде чем она заставила его улыбнуться. Она так старалась быть храброй и я не хотел делать это труднее.

Так что я распаковал свои вещи, исследовал дом и попытался притвориться, что не скучаю по особняку, что не скучаю по восточным садам, что не скучаю по Лиди так сильно, что это ощущалось как физическая боль в груди.

Дни смазывались вместе.

Папа отсутствовал большую часть времени, уходя рано утром и возвращаясь поздно ночью, его лицо было вытянутым и уставшим, его телефон никогда не покидал его руку. Мама тоже проводила часы на телефоне, её голос низкий и напряжённый, использующий слова вроде «расследование», «активы заморожены» и «небезопасно возвращаться».

Я не понимал большую часть этого. Я понимал только, что случилось что-то плохое, что-то связанное с папиной работой и что мы не могли вернуться в Эксетер, пока это не исправят.

— Как долго? — спросил я маму однажды вечером, когда она укладывала меня в постель в моей странной новой комнате с её слишком высоким потолком и слишком маленьким окном. — Как долго, пока мы не сможем вернуться?

Она разгладила волосы с моего лба, её пальцы были прохладными и нежными. — Я не знаю, милый. Твой отец де-

дает всё, что может.

— Но мне нужно увидеть Лиди. Я обещал ей. Я дал клятву на мизинцах.

— Я знаю, любовь моя, — её глаза сделали что-то сложное, тот самый проблеск, который я видел на папином лице в самолёте, тот, что означал, что она пытается защитить меня от чего-то. — Я знаю, что обещал.

Она поцеловала меня в лоб и выключила свет.

Я лежал в темноте, глядя на воздушного змея в углу и думал о письме. Папа обещал, что отправит его. Он убрал его во внутренний карман над сердцем и сказал, что обо всём позаботится.

Значит, Лиди, должно быть, получила его к этому времени. Должно быть, она прочитала мои слова. Она должна знать, что я не бросил её, что я не забыл её, что я вернусь, как только смогу.

— Со дня на день, — прошептал я фиолетовому змею. — Она ответит со дня на день.

Но дни проходили, а письма не было.

Я спрашивал папу об этом — раз, два, три — и каждый раз он говорил одно и то же: «Я отправил его, сынок. Почта бывает медленной, особенно со всем, что происходит»

И я верил ему. Конечно, я верил ему. Он был моим отцом.

Я не знал — не мог знать — что письмо всё ещё лежало в кармане его пиджака, забытое в хаосе замороженных активов и юридических угроз и того особенного веса рушащейся

жизни.

Я не знал, что он намеревался отправить его, полностью намеревался, тянулся за ним дюжину раз, только чтобы его прервал очередной телефонный звонок, очередной кризис, очередной пожар, который нужно было тушить.

Я не знал, что письмо останется в этом кармане на недели, затем месяцы, затем годы — маленький белый прямоугольник бумаги, который семилетний мальчик написал дрожащей рукой в самолёте где-то над Ла-Маншем.

Я знал только, что я написал Лиди и что она не ответила.

Может быть, она забыла меня.

Может быть, жёлтого змея было недостаточно.

Может быть, клятвы на мизинцах не значили для неё не то же самое, что для меня.

Но даже когда сомнение прокрадывалось внутрь, даже когда дни растягивались в недели, а тишина из Эксетера становилась громче, я не переставал верить.

Я не мог.

Ведь где-то там, под тем же серым октябрьским небом, она ждала меня.

Мне просто нужно было найти путь обратно к ней.

ПОЧЕМУ ТЫ МЕНЯ БРОСИЛ?

Лидия

26 октября 2004 года

Дни после того ужина смазались во что-то серое и бесформенное, как река смазывается в камни у края моста — постоянно движущееся, постоянно что-то стачивающее, но никогда по-настоящему не меняющееся.

Папа не извинился за то, что сказал. Он больше не упоминал Честера, не признавал того, как я плакала за столом, казалось, не замечал, что я перестала задавать вопросы вообще.

Он просто двигался по дому, как грозовая туча в поисках того, во что бы ударить, его шаги тяжелее, чем раньше, его голос острее по краям, его терпение истончилось настолько, что я видела гнев, пульсирующий под ним, как второе сердцебиение.

Я научилась не попадаться ему на пути.

Никто меня этому не учил — моё тело поняло это раньше, чем мозг, как кролик учится замирать, когда тень ястреба проплывает над головой.

Я просыпалась раньше, чем требовалось, крадясь вниз по лестнице на цыпочках с кедами, зажатыми в руках, чтобы они не скрипели о половицы.

Я завтракала стоя у кухонной стойки вместо стола, тост едва прожёван, мои глаза прикованы к дверному проёму на случай, если он появится.

Я проводила часы в саду, даже когда октябрьский холод пробирался сквозь мой джемпер и делал мои пальцы синими, потому что сад был безопаснее, чем дом.

В саду не было хлопающих дверей. В саду не было голоса, который хлестал, как кнут.

Но я не могла оставаться снаружи вечно.

В первый раз, когда он по-настоящему напугал меня — не просто резкими словами или хлопающими дверьми, а чем-то более глубоким, чем-то, что осело в моих костях и осталось там — был вторник.

Я помню, что это был вторник, потому что раньше по вторникам мамочка водила меня в библиотеку после школы и я думала об этом всё утро, переворачивая воспоминание снова и снова в голове, как гладкий камень, который я пыталась согреть.

Я была в гостинной, стоя на коленях на полу с мелкими, разложенными вокруг меня и рисовала жёлтого змея. Я нарисовала самого змея. Кривоватый ромб ярко-жёлтого, белые ленты, развевающиеся за ним, как серпантин, солнце в углу и две палочные фигурки, держащие верёвку. Одна с жёлтыми волосами. Одна с косичками.

Я была так сосредоточена на рисунке, мой язык высунут из уголка рта, над чем раньше мамочка смеялась, что не слышала, как вошёл папа. Я не слышала, как открылась дверь или тяжёлого стука его шагов по ковру, или того, как его дыхание уже было рваным, уже неправильным.

Я только подняла взгляд, когда его тень упала на мою бумагу, загородив бледный свет из окна.

— Что ты делаешь? — его голос был странным.

Тугим. Как верёвка, натянутая слишком сильно.

— Рисую, — сказала я, мой мелок застыл на полпути. — Я рисую змея. Того, что Чес мне подарил.

Я смотрела, как его лицо меняется.

Это было похоже на то, как лёд трескается на пруду — сдвиг слишком быстрый, чтобы за ним уследить, а потом всё было сломано.

Его челюсть сжалась. Его ноздри раздулись. Его рука — та, что была у его бока, та, которой он обхватывал мою щёку — сжалась в кулак.

— Я же сказал тебе, — произнёс он и его тон был очень тихим теперь, тише, чем я когда-либо слышала, что было почему-то хуже, чем крик. — Перестать говорить об этом мальчишке.

— Но папа, я просто...

— Прекрати, — слово вышло как выстрел и я вздрогнула так сильно, что мелок сломался в моей руке. — Прекрати говорить о нём. Прекрати рисовать его. Прекрати думать о нём. Он уехал, Лидия. Он уехал и он не вернётся, и тебе нужно это принять.

Я уставилась на него, моё сердце колотилось так сильно, что я чувствовала его в горле. Я увидела в его глазах то, чего никогда не видела раньше.

Не гнев — гнев я видела.

Не горе — горе я видела каждый день с тех пор, как мамочка умерла.

Это было что-то другое.

Что-то холодное и жёсткое и совершенно, пугающе пустое.

— Папа, — прошептала я едва громче вдоха. — Ты меня пугаешь.

На один подвешенный момент его выражение дрогнуло.

Что-то почти человеческое прошло через его глаза — сожаление, может быть, или призрак того человека, которым он был раньше. А затем оно исчезло, поглощённое той холодной, пустой вещью и он протянул руку и схватил мой рисунок.

— Нет, — выдохнула я, вскарабкиваясь на ноги. — Папа, пожалуйста, не надо...

Он смял его.

Его кулак сомкнулся вокруг бумаги — жёлтого змея, палочных фигурок, солнца — и раздавил её в шар, восковые крошки трескались и осыпались на пол.

Затем он бросил скомканный рисунок и он приземлился у моих ног, как мёртвая вещь.

— Убери это, — грубо сказал он. — И не дай мне снова увидеть, как ты рисуешь этого мальчишку и всё, что с ним связано.

Он повернулся и вышел из гостиной и я стояла там, застыв, мои руки дрожали, моя грудь вздымалась, глядя на смятый шар бумаги на полу.

Жёлтый змей исчез. Палочные фигурки исчезли. Солнце

исчезло.

Я опустилась на колени и подняла рисунок, разглаживая его дрожащими пальцами, но воск потрескался, а бумага была измята так, что уже не подлежала восстановлению и жёлтый змей был теперь лишь неузнаваемым пятном цвета.

Я прижала его к груди всё равно, держа его там и почувствовала, как что-то внутри меня — что-то, что держалось, что-то, что надеялось — начало крошиться.

Это была ночь, когда я перестала рисовать.

Ночь, когда я перестала говорить о Честере в стенах собственного дома.

Ночь, когда я узнала, что некоторые вещи слишком опасны, чтобы произносить их вслух.

Но я не перестала думать о нём. Я никогда не переставала думать о нём. И каждую ночь, перед тем как лечь спать, я смотрела на жёлтого змея, висящего на стене моей спальни — настоящего, того, что папа ещё не нашёл — и я шептала его имя в темноту.

— Чес, — болезненно шептала я, шмыгая носом. — Где ты? *Почему ты меня бросил?*

ЕЁ ЛЮДИ И НАЧАЛО ЧЕГО-ТО КОШМАРНОГО

Лидия

28 октября 2003 года

Недели после того, как Честер Фриман исчез из моей жиз-

ни, истекали друг в друга, как акварели, оставленные под дождём.

Неразличимые, серые, растекающиеся по краям, пока я не переставала понимать, где заканчивался один день и начинался следующий.

Нрав папы стал живым существом в доме — третьим обитателем, который занимал больше места, чем мы оба, который дышал в углах и сотрясал окна своими требованиями.

Теперь он пил.

Не так, как раньше — стакан виски после ужина, пока мамочка читала в кресле, а я рисовала мелками на ковре.

Это было другое. Это были бутылки, спрятанные в кабинете, тихо позвякивающие, когда я проходила мимо двери. Это был он, ссутулившийся за кухонным столом в два часа ночи, его галстук ослаблен, глаза остекленевшие, голос заплетающийся на словах, которых я не могла разобрать. Это был запах чего-то кислого в его дыхании, когда он наклонялся слишком близко, то, как его руки дрожали, когда он не держал стакан, то, как его взгляд скользил мимо меня, будто меня вообще не было.

Я проводила часы в саду, даже когда ноябрьский холод прокусывал мой джемпер и делал мои пальцы синими, потому что сад был безопаснее, чем дом.

В саду не было криков. В саду не было запаха виски и звона бьющегося стекла.

Но сад был также пуст. А пустота, как я узнавала, имела

свой собственный вес.

Бэйтс появился первым. Он всегда появлялся первым, будто у него был какой-то внутренний радар, который срабатывал каждый раз, когда я тонула и мне нужен был кто-то, кто бросит мне верёвку.

Я сидела на задних ступеньках, уперев подбородок в колени, глядя, как серое ноябрьское небо угрожает дождём, на который оно ещё не решилось, когда услышала хруст гравия и подняла взгляд, чтобы увидеть его, шагающего через садовую дорожку с той особенной несокрушимой уверенностью семилетки, который никогда не встречал ситуации, из которой не мог бы выговориться.

— Ты выглядишь как мокрая кошка, — объявил он, опускаясь на ступеньку рядом со мной без приглашения. Его светлые волосы торчали в семнадцати разных направлениях, как обычно. На нём была куртка, слишком большая для него — вероятно, отцовская — с рукавами, закатанными столько раз, что они выглядели как пончики вокруг его запястий. — Очень грустная, очень промокшая кошка, которую оставили под дождём.

— Меня не оставляли под дождём. Я сижу здесь десять минут.

— Одно и то же. Ты хандришь. Я вижу. Я отлично вижу, когда люди хандрят, — он толкнул плечом моё. — Снова твой папа?

Я не ответила. Мне не нужно было. Бэйтс был моим дру-

гом достаточно долго, чтобы читать мои молчания лучше, чем большинство людей читают слова.

— Так я и думал, — он залез в карман своей слишком большой куртки и вытащил слегка помятый бумажный пакет, протягивая его мне с видом человека, предлагающего священную реликвию. — Я тебе кое-что принёс. Ну, Оливия принесла, но я нёс. Так что это от нас обоих. Это «Джемми Доджер». Я собирался его съесть, но потом вспомнил, что ты их любишь и Оливия сказала, что делиться — это основа цивилизации, а Джейкоб сказал, что это исторически неточно и потом они спорили десять минут о происхождении общинного распределения еды, а я съел два других печенья, пока они были отвлечены. Так что технически ты получаешь третье. Но главное — внимание.

Я взяла бумажный пакет и заглянула внутрь.

«Джемми Доджер» действительно был слегка помят, джем вытекал с одного бока, как крошечная сахарная рана. Это была самая красивая вещь, которую я видела за последние дни.

— Спасибо, — сказала я тише, чем мне хотелось.

— Пожалуйста. Теперь ешь. Ты выглядишь так, будто не ела ничего примерно с 2003 года.

Я откусила печенье.

Оно было сладким, рассыпчатым и именно тем, что мне было нужно, и я почувствовала, как что-то ослабилось в моей груди. Что-то, что было закручено так туго так долго, что

я забыла, каково это — дышать вокруг этого.

— Остальные идут, — сказал Бэйтс, откидываясь на руки и вытягивая ноги перед собой. — Оливия, Джейкоб и Дэйвон. Мы будем играть в футбол. Ты и я против них. Мы их уничтожим.

— Я не знаю, как играть в футбол.

— Это нормально. Мы всё равно их уничтожим за счёт чистой силы личности.

Я почти улыбнулась.

Это было маленькое хрупкое движение, едва заметное подёргивание в уголке рта, но оно было там.

Бэйтс увидел это, и всё его лицо осветилось, будто я дала ему подарок.

— *Вот оно*, — сказал он, его интонация теперь ощущалась мягче. — Я знал, что оно ещё там.

— Что?

— *Улыбка*. Я её давно не видел. Начинал волноваться, что она уехала в отпуск, никому не сказав, — он снова толкнул меня плечом, нежнее в этот раз. — Я знаю, что ты скучаешь по маму и по нему, Лидс. Я знаю, что это тяжело. Я не понимаю, почему он уехал, или почему он не попрощался, или почему взрослые такие совершенно бесполезные в объяснении вещей, которые имеют значение. Но ты не одна. Ты знаешь это, да? Ты никогда не одна. У тебя есть *мы*.

Я посмотрела на него — на этого нелепого, невозможного мальчика с его слишком большой курткой, волосами

в разных направлениях и абсолютным отказом позволить мне утонуть — и почувствовала, как моё горло сжалось. — Бэйтс...

— Не надо сантиментов. У меня на них аллергия. От них я покрываюсь чесоткой, — он встал и отряхнул брюки, а затем протянул мне руку. — Пойдём. Остальные будут здесь с минуты на минуту и я отказываюсь позволить тебе сидеть на этих ступеньках, пока есть футбольный матч, который нужно выиграть.

Я взяла его за руку. Его пальцы были тёплыми и слегка липкими от печенья, а его хватка была крепкой, когда он поднял меня на ноги.

— Ты очень забавный, — сказала я ему.

— Я восхитительный. Есть тонкое, но важное различие, Лидс, — он ухмыльнулся мне, той широкой, неукротимой ухмылкой, которая втягивала его в неприятности с тех пор, как он научился ходить. — Ну что, готова эффектно проиграть в спорте, которого ты не понимаешь?

— Абсолютно.

— Вот это настрой!

Остальные пришли через несколько минут, вваливаясь через заднюю калитку волной шума и цвета и той особенной, хаотичной энергии, которая, казалось, следовала за ними повсюду.

Оливия была во главе, её тёмные волосы убраны в аккуратный хвост, банка печенья зажата в одной руке и блокнот

в другой.

Джейкоб был за ней, шагая с той особенной сосредоточенной интенсивностью, которую он привносил во всё.

Дэйвон замыкал шествие, футбольный мяч зажат под мышкой, его выражение — та спокойная маска, которую он всегда носил, та, что делала его старше семи лет.

— Она съела печенье, — объявил Бэйтс, указывая на меня, как на научный эксперимент, который дал удовлетворительные результаты. — Я дал его ей, и она его съела. Мой план удался!

— У тебя не было плана, — сказала Оливия, ставя банку с печеньем на ступеньки и вытаскивая блокнот. — У тебя было печенье. Это не план.

— Это основа плана. Планы строятся на печенье. Это базовая стратегия.

— Это не базовая стратегия. Это просто чепуха, — вмешался Дэйвон.

— Чепуха — это основа гениальности. Спроси любого изобретателя.

— Ты не изобретатель. Ты семилетка с «Джемми Доджером».

— Одно и то же.

Дэй уронил футбольный мяч на траву и посмотрел на меня этими голубыми глазами, которые были схожи с моими. — Как ты? — спросил он, его голос тише, чем у остальных, обращённый только ко мне.

Я пожала плечами, едва подняв их. — Нормально.

— Тебе не обязательно быть в порядке. Ты это знаешь, да?

Я не ответила. Я не была уверена, что знаю как.

— Мы будем играть в игру, — сказал Дэйвон после паузы.

— Двое на двое. Я и Джейкоб против тебя и Бэйтса. Оливия — судья, потому что она отказывается участвовать в чём-либо, что может включать физические нагрузки.

— Физические нагрузки — враг интеллектуальных занятий, — сказала Оливия, не поднимая взгляда от блокнота. — Я буду вести счёт и документировать любые травмы. Для исторической записи.

— Какой исторической записи? — спросил Джейкоб, явно заинтересовавшись какими-то записями, о которых я не имела понятия.

— Той, которую я создаю. Она будет очень всеобъемлющей.

— Тебе семь. У тебя нет исторической записи.

— Будет, когда я стану старше. Я планирую заранее.

Мы заняли свои позиции на клочковатой ноябрьской траве — я и Бэйтс на одной стороне, Джейкоб и Дэйвон на другой, Оливия присела на задних ступеньках с открытым блокнотом и ручкой наготове.

Небо всё ещё было серым и тяжёлым, угрожая дождём, который так и не приходил, воздух был достаточно холодным, чтобы превращать наше дыхание в туман, но я больше не чувствовала холода.

Я почти ничего не чувствовала, кроме странного, незнакомого тепла быть окружённой людьми, которые отказывались уходить.

— Готовы? — крикнула Оливия, её ручка зависла. — На мой счёт. Три... два... один...

Игра была хаосом. Прекрасным, нелепым, совершенно нескоординированным хаосом. Бэйтс бежал в неправильном направлении как минимум четыре раза, его слишком большая куртка хлопала за ним, как сломанный парус, а Джейкоб постоянно останавливался, чтобы указать на облачные образования, которые, как он настаивал, имели отношение к стратегии игры.

Дэйвон был единственным, кто действительно знал, как играть и он провёл большую часть времени, пытаясь научить нас правилам, одновременно защищаясь от всё более креативных интерпретаций Бэйтса того, что представляло собой незаконный ход.

— Это фол! — закричала Оливия в один момент, когда Бэйтс попытался поднять мяч руками.

— Это инновация! — закричал в ответ Бэйтс.

— Это жульничество!

— Жульничество — это просто инновация без разрешения!

Я забила гол.

Это была случайность, мяч отскочил от моего колена и прокатился мимо Дэйвона, который отвлёкся на Джейкоба,

указывающего на особенно интересное облако, но это считалось и Бэйтс поднял меня на плечи, пронося по саду, как будто я выиграла Чемпионат мира.

— Чемпионка! — кричал он, его голос эхом разносился от садовых стен. — Непобеждённая, неудержимая, невероятно везучая!

— Опустите меня, Бэйтс!

— Никогда! Ты теперь будешь жить на моих плечах вечно! Нам придётся вместе разобраться с логистикой школы, но мы справимся!

Оливия смеялась — настоящим смехом, тем, от которого всё её лицо морщилось. Джейкоб улыбался, чего почти никогда не делал. Даже рот Дэйвона изогнулся во что-то, что не совсем было улыбкой, но было достаточно близко, чтобы считаться.

И я тоже смеялась. Не тем маленьким хрупким почти-смехом, что раньше, а настоящим, ярким, удивлённым и полным чего-то, чего я не чувствовала неделями.

Это ощущалось как надежда. Или что-то близкое к ней.

Позже, после того как игра закончилась и печенье было съедено, небо наконец решилось на свой дождь, пока мы сидели на задних ступеньках под узким карнизом крыши, глядя, как капли падают ровными, серебряными занавесами.

Я была зажата между Бэйтсом и Оливией, а Дэй и Джей были на ступеньке ниже нас, споря о чём-то, на что я перестала обращать внимание десять минут назад.

— Лидия, — тихо сказала Оливия, её голос слышался только для меня. — Ты знаешь, что мы тебя любим, да? Все мы. Даже когда твой папа... даже когда всё тяжело. Мы никуда не уйдём.

Я посмотрела на неё. На её серьёзные глаза, аккуратный хвост и блокнот, полный наблюдений о мире, который она была полна решимости понять и почувствовала, как моё горло сжалось.

— Я знаю, — прошептала я.

— Правда? Потому что иногда мне кажется, что ты забываешь. Иногда мне кажется, что ты веришь, будто должна нести всё сама, — она протянула руку и взяла мою, переплетая наши пальцы. — Ты не должна. У тебя есть мы. *У тебя всегда будем мы.*

Бэйтс, который был нехарактерно тихим во время этого обмена, наклонился и прижал поцелуй к макушке моей головы. Это движение было быстрым, неуклюжим и слегка липким от печенья, но это было самым утешительным, что кто-либо делал для меня за последние недели.

— Мы твои люди, Лидс, — сказал он и его голос лишился своей обычной маниакальной энергии. — *Твоя семья.* Не та, в которой ты родилась — та, которую ты выбрала. Та, которая выбрала тебя в ответ. И мы не уходим. Никогда. Что бы ни случилось.

— Что бы ни случилось, — в ответ повторила я.

Дождь продолжал падать. Небо продолжало темнеть. И я

сидела там на ступеньках, окружённая странными, чудесными, невозможными людьми, которые решили, что я стою того, чтобы меня любить, и я позволила себе поверить им.

Может быть, я не была одна. Может быть, я никогда не была.

И они тоже.

Я проснулась от звука открывающейся двери в мою спальню.

Это был мягкий звук, скрип старых петель, которые папа собирался смазать уже несколько месяцев, с тех самых пор, как мамочка впервые упомянула об этом за ужином, прижав ладонь к его руке и сказав: «Ройс, пожалуйста, это будит Лидию каждый раз, когда дует ветер».

Он обещал починить. Он обещал много всего, тогда.

Я лежала совершенно неподвижно под одеялами, моё сердце уже начинало колотиться о рёбра, мои пальцы сжимали край пухового одеяла тем особенным, побелевшим от напряжения захватом ребёнка, который научился распознавать опасность по форме её тени. Дверь распахнулась шире, и фигура заполнила проём — высокая, широкая и слегка покачивающаяся, одна рука упёрта в дверной косяк, будто сам пол стал ненадёжным.

— Папочка? — мой голос вышел маленьким и тонким,

проглоченный темнотой. — Папочка, почему ты не спишь?

Он не ответил.

Он просто стоял там, его дыхание вырывалось грубыми, рваными толчками, которые я слышала даже через всю комнату и его запах — тот кислый, резкий, знакомый запах, который просачивался в мебель, в занавески и в стены нашего дома — катился ко мне волнами. Виски. Столько виски, что я чувствовала его вкус на задней стенке горла — горький и обжигающий.

— Папочка? — сказала я снова, приподнимаясь на локтях и моя ночная рубашка закрутилась вокруг ног. — Ты заболел? Тебе нужно воды? Мамочка всегда говорила...

Но я не закончила предложение, потому что он двигался теперь, шатался через комнату нетвёрдой тяжёлой походкой того, кто забыл, как ходить.

Половицы стонали под его весом и этот звук послал холодный, острый шип страха через мою грудь, которого я не понимала.

Я боялась папу раньше, боялась его криков, боялась его хлопающих дверей, боялась того, как его глаза становились пустыми и холодными, когда он пил, но это было *другое*.

Это было что-то глубже. Что-то, что моё тело узнало раньше, чем мозг смог дать этому имя.

Он достиг моей кровати и стоял там долгий, подвешенный момент, слегка покачиваясь, его дыхание дребезжало в груди. Теперь я видела его лицо — едва-едва, в тонкой полоске

света, что пробиралась сквозь щель в занавесках.

Его глаза были остекленевшими и расфокусированными, его челюсть обмякла, его рубашка была выбита и висела открытой у ворота.

Он был похож на папу, но также и нет.

Он был похож на незнакомца, надевшего папину кожу.

— Почему ты не спишь, папочка? — прошептала я снова, мой голос дрожал теперь, мои руки сжимали одеяла у груди, как щит. — Тебе нужно пойти обратно в постель. Утром станет лучше. Так мамочка всегда говорила, помнишь? Она говорила, что сон всё исправляет.

Он не ответил.

Он просто смотрел на меня этими остекленевшими, пустыми глазами, а затем сделал кое-что, от чего моя кровь похолодела.

Он сел на край моей кровати.

Матрас прогнулся под его весом, потянув меня к нему и я рванулась назад, вжимаясь в изголовье, моё сердце колотилось так сильно, что я чувствовала его в горле.

— Папочка? — мой шепот треснул на этом слове. — Папочка, что ты делаешь? Ты меня пугаешь.

Он всё ещё не говорил.

Его рука — та рука, что когда-то обхватывала мою щёку, та рука, что когда-то подбрасывала меня в воздух и ловила, та рука, что держала мою на похоронах мамочки — протянулась и сомкнулась вокруг моей лодыжки.

Его пальцы были холодными, грубыми, слишком тугими и я почувствовала, как что-то внутри меня замёрзло насмерть.

— Папочка, пожалуйста... — я попыталась вырваться, но его хватка была как железо, а одеяла запутались вокруг моих ног, поймав меня в ловушку. — Папочка, ты делаешь мне больно...

Его другая рука поднялась и прижалась к моему рту.

Давление было жёстким и непреклонным, его ладонь грубая на моих губах и я не могла дышать.

Я не могла кричать.

Я не могла делать ничего, кроме как лежать там, застыв, пока его вес смещался на кровати, а его руки начинали двигаться так, как я не понимала, трогая места, которые никогда не трогались, которые не должны были трогаться, о которых мамочка говорила, что они личные, особенные и только для меня.

Я не понимала, что происходит.

Мне было семь лет. Я всё ещё верила в клятвы на мизинцах, в жёлтых змеях и в звёзды, которые могут видеть тебя с небес.

У меня не было слов для этого. У меня не было рамки для того ужаса, что разворачивался в темноте моей спальни — вес моего отца, вдавливающий меня в матрас, его рука на моём рту, его дыхание горячее и кислое на моей щеке.

Я пыталась кричать.

Звук выходил приглушённым и сломанным, проглочен-

ный его ладонью.

Я пыталась лягнуть, но мои ноги были придавлены, а ночная рубашка закрутилась вокруг бёдер *и ничто не имело смысла, ничто не имело смысла, ничто не имело смысла ...*

— Тшш, — выдохнул он и это было первое слово, которое он произнёс и оно было хуже тишины. — Тшш, *солнышко*. Просто лежи тихо. Просто лежи тихо для папы.

Солнышко. Он назвал меня солнышком.

Это было моё прозвище.

То прозвище, что он дал мне, когда я была слишком маленькой, чтобы помнить, то прозвище, что он шептал в мои волосы, когда я болела, то прозвище, что он кричал через сад, когда я играла на качелях.

И теперь он говорил его с рукой на моём рту и телом, вдавливающим меня в кровать, и мир разламывался на куски, слишком мелкие, чтобы когда-либо собрать обратно.

Затем пришла боль — резкая, разрывающая, невозможная боль, что пронзила меня, как огонь, как молния, как ничто из того, что я когда-либо чувствовала раньше.

Я кричала в его ладонь, мой голос трескался и ломался, моё тело выгибалось с кровати в отчаянной, произвольной попытке сбежать.

Но он был слишком тяжёлым. Слишком сильным.

И он не останавливался.

Он не останавливался.

Я не знаю, как долго это длилось. Время перестало что-

либо значить. Мир сузился до веса его тела, запаха виски, звука его дыхания, боли, что расходилась по мне волнами, настолько сильными, что я думала, что разобьюсь от их силы.

Моя подушка упала на пол. Мой жёлтый змей, висящий на стене напротив моей кровати, смотрел на меня своим белым ленточным хвостом и я глядела на него, пока это происходило, глядела на жёлтую ткань, слегка кривые стежки и вспоминала о светловолосом мальчике с серо-зелёно-кари-ми глазами, который сказал: *«Ты заслуживаешь солнца»*.

Когда всё закончилось, папа встал.

Он не смотрел на меня. Он ничего не сказал. Он просто поправил рубашку руками, которые всё ещё дрожали, всё ещё были нетвёрдыми и вышел из моей комнаты, оставив дверь открытой за собой.

Его шаги эхом разнеслись по коридору. Тяжёлые, неровные, шаги незнакомца, а затем в доме снова стало тихо.

Я лежала там в темноте, моя ночная рубашка скручена вокруг тела, мои ноги дрожали, моё лицо мокрое от слёз, которых я не помнила, что плакала. Я не могла двигаться. Я не могла говорить.

Я не могла думать. Каждая часть меня онемела, будто моё тело решило, что не чувствовать ничего — безопаснее, чем чувствовать то, что только что случилось.

Я смотрела на жёлтого змея на стене моей спальни и ждала утра.

Свет пришёл медленно, просачиваясь сквозь занавески бледными, серыми пальцами, которые касались изножья моей кровати, а затем отступали, будто даже солнце не было уверено, что ему разрешено здесь быть.

Я лежала совершенно неподвижно, мои глаза открыты, моё тело свернулось в себя под спутанными одеялами.

Комната выглядела так же, как всегда. Мои книги на полке. Мои мелки, разбросанные по полу. Жёлтый змей на стене с его безжизненными и неподвижными лентами.

И пятно. Тёмное, красное, расплзающееся по моим простыням, как рана, которая не закроется.

Я села медленно, моё тело протестовало глубокой, незнакомой болью, что пульсировала между ног при каждом движении. Боль была острой и настойчивой — напоминание, что что-то случилось, что-то ужасное, что-то, чему я не могла дать имя, что-то, что мой мозг уже пытался обернуть слоями тумана и расстояния.

Сон, сказала я себе.

Это был просто сон.

Кошмар.

Такое случается. Так говорили взрослые. Иногда сны казались реальными, но не были. Не могли быть.

Но пятно на моих простынях было реальным. И боль была реальной. И воспоминание — фрагментированное, раз-

мытое, уже ускользающее от меня, как вода сквозь пальцы — было реальным.

Я вылезла из кровати, мои ноги нетвёрдые, мои руки дрожали, когда я сдёргивала простыни с матраса. Ткань была влажной, и я скомкала её в охапку, неся в ванную осторожными обдумантыми шагами того, кто очень старался никого не разбудить. Ванная была холодной, плитка ледяная под моими босыми ногами и я засунула простынь в раковину, включив воду и глядя, как она становилась розовой, затем красной, затем прозрачной.

Я тёрла пятно куском мыла, пока мои пальцы не заболели, пока ткань не стала чистой, пока не осталось ничего, что можно было бы увидеть.

А затем я стояла там, вцепившись в край раковины, глядя на своё отражение в зеркале. Мои волосы были спутаны. Мои глаза были красными и опухшими. Моя ночная рубашка была измятой и на моей руке формировался синяк — четыре маленьких тёмных отметины там, где пальцы сжались слишком сильно.

Это был *сон*, вновь повторила я. Это был *просто сон*.

Я передела ночную рубашку. Я умыла лицо. Я спустилась вниз.

Папа был на кухне, сидел за столом с чашкой кофе и утренней газетой — его волосы причёсаны, его рубашка выглажена, его глаза ясные и яркие.

Он снова был похож на папу. Он был похож на человека,

который когда-то называл меня солнышком, подбрасывал в воздух и ловил.

Он был похож на того, кто никогда, *никогда бы не сделал мне больно.*

— Доброе утро, моё солнце, — сказал он, поднимая взгляд от газеты с улыбкой. — Ты рано встала. Хорошо спала?

Я стояла в дверях, мои руки сцеплены за спиной, моё сердце колотилось о рёбра. — Мне приснился плохой сон, папа.

Его улыбка дрогнула, всего на мгновение. — Плохой сон? О чём?

— Мне приснилось... — я остановилась и сглотнула, заставив слова выйти. — Мне приснилось, что ты пришёл в мою комнату. И ты был... ты был другим. И ты сделал мне больно. Ты ударил меня. Как ты бьёшь стену иногда. И я пыталась закричать, но не могла и мне было больно, папа. Действительно больно.

Цвет схлынул с его лица. Его кофейная чашка ударилась о блюдце со звоном, от которого я вздрогнула. — Лидия... — папа встал, его стул скребнул по полу и он пересёк кухню, чтобы опуститься на колени передо мной.

Его руки поднялись обхватить моё лицо. Его ладони были тёплыми, его глаза искали мои с интенсивностью, от которой у меня скрутило живот. — Лидия, это был сон. Просто сон. Ты понимаешь? Я бы никогда — я бы *никогда не смог...*

— Но он был таким реальным, — заскулила я и мой голос треснул на последнем слове. — Он был таким реальным, папа. Я проснулась и мне было больно. Мне было больно в местах, о которых я не знала, что им может быть больно.

Его лицо сделало что-то ужасное — слом, настолько глубокое горе, что оно выглядело так, будто могло поглотить его целиком. — Это был сон, — сказал он снова и его тон был твёрдым теперь, почти отчаянным. — Это был просто сон, солнышко. Я был здесь всю ночь. Я заснул в своём кабинете. Я никогда не поднимался наверх. Я бы никогда не сделал тебе больно. Ты знаешь это. Ты знаешь, что я бы *никогда* не сделал тебе больно.

Я смотрела на него, на его ясные глаза, его выглаженную рубашку и его руки, которые никогда, ни разу за семь лет, не были со мной ничем, кроме как нежными — и я сделала выбор. Это был первый выбор, который я сделала, зная, что он был ложью и он осел в моей груди, как камень.

— Хорошо, папа, — сказала я. — Это был просто сон.

Он притянул меня в свои объятия, прижимая моё лицо к своему плечу и я позволила ему держать меня.

Я позволила ему гладить мои волосы и шептать извинения за сон, которого он не помнил, за преступление, которого он не мог вспомнить, за насилие, которое было проглочено виски, темнотой и монстром, что носил его кожу.

Но когда я закрыла глаза, всё, что я видела — это жёлтый змей на стене моей спальни, смотрящий на меня глаза-

ми мальчика, который пообещал на мизинце, что я никогда не буду одна.

Я была *одна*. Я никогда в жизни не чувствовала себя более одинокой.

ХЭЛЛОУИНСКИЕ ЗАБАВЫ И ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ БОЛЬ

Лидия

31 октября 2004 года

Хэллоуин наступил, укутанный в плащ холодного октябрьского тумана и того особенного, электрического предвкушения, которое, казалось, существовало только когда тебе семь лет и мир обещал тебе бесплатные сладости.

Я боялась его несколько дней — не костюмов, не украшений, не гор шоколада, от которых меня неизбежно стошнит, а ходьбы.

Простого, обычного действия — переставлять одну ногу перед другой — которое стало за последнюю неделю тем, о чём мне приходилось думать.

Что мне приходилось планировать.

Боль между ног утихла от резкой, разрывающей агонии той первой ночи до тупой, настойчивой ломоты, которая вспыхивала каждый раз, когда я двигалась слишком быстро или тянулась слишком далеко, или забывала, хоть на мгновение, что со мной случилось.

Я сказала всем, что потянула мышцу во сне.

Это была первая ложь, которую я когда-либо рассказывала, отрепетированная заранее и она выскальзывала из меня теперь с гладкой, отработанной лёгкостью того, в чём я уже становилась слишком хороша.

— Я неудачно поспала, — сказала я, когда Оливия спросила, почему я хромаю. Мы стояли в парадном холле дома Блэйков, окружённые хаосом костюмов, мешков для конфет и той особенной, подпитанной сахаром энергией пятерых детей, которым разрешили не ложиться спать дольше обычно. — Подвернула ногу в одеялах. Завтра будет в порядке.

Оливия, одетая как поразительно убедительный вампир с плащом, который сшила её мать и фальшивой кровью, капающей из уголка рта, изучала меня этими тёмными, серьёзными глазами, которые никогда ничего не пропускали. — Ты хромаешь уже три дня, — сказала она, её голос понижен достаточно, чтобы другие не слышали. — Это очень долго для потянутой мышцы.

— Я очень основательно потянула.

— Лидс...

— Ливи, — я встретила её взгляд и удержала его так, как научилась удерживать папин, когда он пил и мне нужно было, чтобы он поверил, что я не боюсь. — Я в порядке. Это просто судорога. Мы можем идти? Бэйтс начнёт есть свои собственные конфеты, если мы не двинемся.

Она смотрела на меня долгий момент, а затем кивнула —

маленькое, неохотное опускание подбородка, которое означало, что она оставляет это, но откладывает на потом, ведь она никогда ничего не забывала.

Дом Блэйков был преобразён для этого случая.

Мать Джейкоба, тёплая, но деловито рассеянная женщина, которая, казалось, выживала исключительно на кофе и энтузиазме, задрапировала фальшивую паутину на каждой доступной поверхности и вырезала дюжину тыкв со всё более замысловатыми лицами, которые выстроились вдоль парадных ступеней, как маленькая светящаяся армия.

Запах корицы и жжёного сахара плыл по комнатам и где-то на кухне радио играло жестяное, потрескивающее исполнение «Monster Mash».

Мы все собрались в парадном холле для традиционной пред-конфетной инспекции — ритуала, который включал Элси Блэйк, старшую сестру Джейкоба, проверяющую каждого из нас на «целостность костюма» перед тем, как она позволит нам выйти.

Её втянули в обязанности сопровождающей с тем особенным, многострадальным терпением семнадцатилетней, которой пообещали полный бак бензина и продление комендантского часа на выходные в обмен на её услуги.

— Так, — сказала Элси, скрещивая руки и оглядывая нас, как генерал, инспектирующий войска. На ней была ведьминская шляпа, которую она явно одолжила из материнского шкафа, поля слегка съехали набок, а выражение её лица бы-

ло той особенной смесью раздражения и веселья, которая, казалось, была её настройкой по умолчанию при общении с нами. — Проверка костюмов. Дэйвон, ты кем должен быть?

— Пиратом, — сказал Дэйвон, указывая на свою повязку на глаз и пластиковый кинжал, засунутый за пояс. Он нарисовал шрам на щеке подводкой Оливии, и он уже смазывался.

— Ты выглядишь как пират, попавший в очень незначительное происшествие. Приемлемо. Джейкоб, ты кто?

— Вампир, — ответил Джейкоб. На нём был тот же плащ, что и на Оливии, потому что их матери скоординировались и он отказался носить фальшивую кровь на том основании, что она «антисанитарная».

— Ты выглядишь как вампир, разочарованный качеством своего плаща.

— Я и разочарован качеством своего плаща. Швы неровные.

— Это костюм, Джейкоб, не коронационное платье. Бэйтс, ты кто?

Бэйтс, который подпрыгивал на подушечках ног с той особенной, едва сдерживаемой энергией того, кто уже съел три шоколадных батончика на кухне, пока никто не смотрел, раскинул руки широко. — Я дракон!

— На тебе зелёная пижама с картонными шипами, приклеенными скотчем к спине.

— Дракон, — повторил Бэйтс, будто это должно было

быть очевидно. — Шипы — это мои шипы. У меня теперь есть шипы. Я очень опасный.

— Ты очень что-то, — Элси повернулась ко мне и Оливии. — Оливия, вампир. Хорошо. Последовательно. Лидия, ты кто?

Я посмотрела на свой костюм.

Он был незначительным — чёрное платье, которое я носила на похороны мамочки, в паре с крыльями феи, которые папа купил в последний момент в магазине в городе.

Крылья были погнуты в одном углу от того, что их ранее засунули в сумку, а резинки всё время соскальзывали с плеч.

— Фея, — сказала я и слово ощущалось странно во рту. Феи были лёгкими, нежными и полными волшебства. *Я не была ни одной из этих вещей.*

— Очень жуткая фея, — сказала Элси и её тон теперь был мягче, чем с мальчиками. — Ладно. Правила. Держитесь вместе. Не переходите улицу, не посмотрев в обе стороны. Не ешьте ничего, что уже открыто. И если кто-то попытается дать вам изюм вместо шоколада, скажите, что у вас аллергия.

— У меня аллергия на изюм, — пробубнел Джейкоб, сморщив нос, будто ему предлагали нечто более худшее, чем горсть изюма.

— Нет, у тебя нет аллергии. Ты просто его ненавидишь, — хитро улыбнулась Элси.

— Одно и то же, Эл.

Мы высыпали из дома Блэйков в холодный октябрьский

вечер, наше дыхание туманилось перед лицами, наши костюмы шелестели и шуршали при каждом шаге.

Улицы Эксетера были преображены для Хэллоуина — фонари-тыквы мерцали на каждом пороге, фальшивые призраки свисали с ветвей дубов, случайный всплеск далёкого смеха или визг восторженного ужаса эхом доносились откуда-то глубже из района Пенсильвании, что было достаточно символично.

Луна была бледным водянистым полумесяцем над головой, а уличные фонари отбрасывали длинные танцующие тени, которые делали обычный мир странным, волшебным и полным возможностей.

Бэйтс взял на себя лидерство немедленно, взлетая по первой подъездной дорожке с той особенной, несокрушимой уверенностью того, кто никогда не встречал незнакомца и не собирался начинать сейчас.

Он позвонил в дверь трижды быстрой последовательностью — потому что одного раза никогда не было достаточно — и когда дверь распахнулась, мы увидели пожилую женщину с миской сладостей в руках.

Бэйтс запустил свою рутину с отработанной точностью опытного исполнителя.

— Сладость или гадость, мадам! — объявил он, раскидывая руки широко и заставляя свои картонные шипы качаться. — Я грозный дракон и я требую дань в форме шоколада! Мои друзья и я прошли много миль и встретили много опас-

ностей, чтобы достичь вашей двери, и мы не уйдём, пока...

— О, ради всего святого, — сказала женщина, но она улыбалась. Она бросила три шоколадных батончика в мешок Бэйтса, затем выглянула из-за него на остальных из нас. — Вы все вместе? Боже, вас так много. Вот, возьмите ещё. Вы самые развлекательные сладкоежки, которые у меня были за весь вечер.

Бэйтс поклонился театральным жестом, который чуть не отправил его картонные шипы в полёт. — Ваша щедрость отмечена, моя леди. Дракон помнит своих союзников.

— Она не леди, — пробормотал Джейкоб, когда мы отступали вниз по дорожке. — Это миссис Хайстон. Она держит пекарню на главной улице в центре.

— Она леди для меня, — сказал Бэйтс, уже сканируя улицу в поисках следующей цели. — Леди шоколада. Шоколадная леди. А...

— Мы поняли, — сказал Дэйвон, хлопая его по плечу. — Ты очень обаятельный. Сохрани немного энергии для остальной улицы.

— У меня неограниченная энергия. Я дракон!

Мы прокладывали путь вниз по улице, дом за домом, наши мешки с конфетами становились тяжелее с каждой остановкой. Бэйтс собирал больше всех нас — отчасти из-за своих театральных выступлений, отчасти потому, что он не гнушался эксплуатировать собственную милоту. И к тому времени, как мы достигли конца третьего квартала, его мешок

переполнился и Дэйвон начал называть его «шоколадным бандитом».

— Это не бандитизм, — запротестовал Бэйтс, запихивая ещё один миниатюрный шоколадный батончик в свой уже раздутый мешок. — Это дипломатия. Я строю отношения.

— Ты строишь конфетный склад, — закатила глаза Оливия.

— В этом смысл. Я дракон. Драконы строят склады с конфетами.

— Ты должен быть грозным драконом, а не капиталистическим драконом, — подначил нашего друга Джей.

— Грозный драконом с отличным финансовым планированием.

Боль между моих ног была терпимой большую часть вечера — тупая, фоновая ломота, которую я могла игнорировать, если достаточно сильно сосредотачивалась на костюмах, конфетах и болтовне моих друзей.

Но к тому времени, как мы достигли конца четвёртого квартала, она заострилась во что-то более настойчивое, что-то, что вспыхивало каждый раз, когда я сходила с бордюра или тянулась позвонить в дверь.

Теперь я шла медленнее, отставая от остальных и я чувствовала глаза Оливии на мне каждые несколько минут, отслеживающие мои движения с тем особенным аналитическим фокусом, который означал, что она собирает улики.

— Лидия, — тихо сказала она, подстраиваясь под мой

шаг. — Ты уверена, что ты в порядке? Ты снова странно ходишь.

— Я в порядке, — сказала я и ложь была автоматической теперь. — Это просто крылья. Резинки слишком тугие.

Она посмотрела на мои крылья — погнутую раму, со-
скальзывающую резинку, то, как одна сторона висела ниже
другой — и её лоб нахмурился. — Они не выглядят слиш-
ком тугими.

— Они тугие. Я чувствую, как они тянут.

Она не выглядела убеждённой, но Бэйтс выбрал именно
этот момент, чтобы объявить, что он заметил дом с «хоро-
шим шоколадом — тем, что с карамелью внутри» — и разго-
вор был поглощён хаосом пятерых детей, несущихся к обе-
щанию сахара.

Дом с карамельным шоколадом оказался раскидистым
викторианским особняком в конце улицы — таким домом,
который выглядел так, будто был спроектирован специально
для Хэллоуина.

Крыльцо было задрапировано паутиной, окна светились
жутким оранжевым светом, а пара фальшивых скелетов бы-
ла усажена на парадных ступенях за, как казалось, макабри-
ческим чаепитием.

Знак на воротах гласил: «Входите, если осмелитесь», ка-
пающий кроваво-красными буквами.

— Это лучший дом, который я когда-либо видел, — вы-
дохнул Бэйтс, его глаза расширились от чего-то, приближаю-

щегося к религиозному благоговению. — Я соберу так много шоколада с этого дома.

— Ты соберёшь так много шоколада, что тебя стошнит,
— поправила Оливия.

— Это и есть цель.

Мы протолкнулись через ворота вверх по дорожке, наши шаги хрустели на гравии и Бэйтс позвонил в дверь с тем особенным настойчивым ритмом того, у кого абсолютно не было чувства сдержанности. Дверь распахнулась и мужчина в полном костюме Фрэнкенштейна навис над нами, его лицо выкрашено в зелёный, а болты приклеены к шее.

— Сладость или гадость! — хором пропели мы.

Мужчина — мистер Хендерсон, поняла я, который присутствовал на похоронах — издал театральный рёв и бросился к нам, его руки вытянуты, как у монстра, которым он был одет.

Оливия взвизгнула и отпрыгнула назад, Дэйвон схватился за свой пластиковый кинжал, будто готовясь защищать нас, а Бэйтс — Бэйтс, который никогда в жизни ничего не боялся — упёрся ногами и зарычал в ответ.

— Ты не можешь напугать меня, монстр! — объявил он, тыча пальцем в собственную грудь. — Я дракон! Я дышу огнём! У меня есть шипы!

— Это картон, — сказал мистер Хендерсон, насмешливо ухмыляясь ему.

— Картонные шипы справедливости, — поправил Бэйтс.

— А теперь давай нам свой шоколад, или я буду вынужден использовать свои драконьи силы.

— Твои драконьи силы, это...?

— Быть очень, очень надоедливым, пока ты не подчинишься.

Мистер Хендерсон засмеялся глубоким раскатистым звуком, который эхом отразился от крыльца и бросил горсть шоколадных батончиков в каждый из наших мешков. — Ты Бэйтс Хоккинс, не так ли? Я знаю твоего отца. Ты точная его копия.

— Я выше его.

— Ты четыре фута ростом.

— Я четыре фута чистой драконьей ярости.

Мы отступили вниз по дорожке, наши мешки стали значительно тяжелее и Бэйтс провёл всю прогулку до следующего дома, объясняя всем, кто готов был слушать, что его драконьи силы реальны и он однажды докажет это, выдохнув настоящий огонь.

— Ты не можешь дышать огнём, — плоско сказал Джейкоб, омраченный бессвязным монологом ненастоящего дракона. — Ты человеческий ребёнок.

— Я человеческий ребёнок с амбициями! — запротестовал Бэйтс, обиженно выпятив нижнюю губу.

И дальше дискуссия понеслась дальше, похожая на смертельную перепалку между голосом разума и чистого энтузиазма.

— Это не то же самое, что дышать огнём.

— Это основа дыхания огнём. Все огнедышащие начинают с амбиций.

— Я не думаю, что так работает биология.

— Я не думаю, что ты — то, как работает биология.

— Это даже не имеет смысла.

— Как и твоё лицо.

Дэйвон, который шёл впереди нас с пластиковым кинжалом на плече, обернулся и окинул их обоих взглядом много-страдального терпения. — Если вы двое не прекратите спорить, я использую свои пиратские силы, чтобы заставить вас пройти по доске.

— Здесь нет доски, — заметил Джейкоб.

— Я найду, — твердо произнес Дэйвон и они замолкли.

Теперь мы достигли конца улицы, где дома уступали место маленькому парку с игровой площадкой и группой дубов, которые выглядели особенно жутко в лунном свете.

Парк был в основном пуст. Несколько старших детей, зависающих у качелей, пара родителей с младшими детьми, которые уже направлялись домой и уличные фонари, которые отбрасывали длинные устрашающие тени на траву.

Бэйтс остановился.

Он повернулся к нам лицом и его выражение сместилось от обычной маниакальной энергии к чему-то более расчётливому.

К чему-то, от чего у меня сжался живот от предвкушения.

— У меня есть идея, — сказал он.

— Твои идеи всегда заканчиваются тем, что кто-то попадает в неприятности, — сказала Оливия.

— Эта идея закончится тем, что мы получим больше шоколада, чем кто-либо во всём районе.

Дэйвон скрестил руки. — Я слушаю.

Бэйтс ухмыльнулся той широкой, неукротимой ухмылкой, которая втягивала его в неприятности с тех пор, как он научился ходить и указал в сторону парка. — Старшие дети. Те, что у качелей. Они были на улице весь вечер. Их мешки полны. Если мы сможем отвлечь их достаточно надолго, один из нас сможет подкрасться и взять несколько их шоколадок. Они никогда не заметят.

— Это воровство, — сказал Джейкоб.

— Это перераспределение. У них слишком много шоколада. У нас слишком мало. Вселенной нужен баланс.

— Вселенной не нужен баланс. Вселенной нужно, чтобы ты перестал пытаться совершать преступления, — покачал головой Дэй, словно разочарованный, но я уловила проблеск игривости в его глазах.

— Это не преступление, если нас не поймают.

— Это буквально определение преступления, — Лив глубоко вздохнула.

Я посмотрела на старших детей — группу из пяти или шести мальчиков, может, десяти или одиннадцати лет, их костюмы уже измяты, а голоса громкие в тихом парке — и по-

чувствовала, как что-то сжалось в моей груди.

Я знала этих мальчиков.

Не по именам, но по типу.

Это были те же мальчики, которые шептались обо мне в школе, которые называли меня жуткой и странной и говорили своим друзьям не садиться рядом со мной за обедом.

Они никогда не делали ничего, чтобы ранить меня — не по-настоящему — но я научилась узнавать, как они на меня смотрели.

То, как их глаза скользили мимо меня, будто я не стоила того, чтобы меня замечать.

— Я сделаю это, — сказала я и слова вышли до того, как я полностью решила их сказать.

Все повернулись посмотреть на меня.

— Что? — голос Оливии был резким. — Лидия, нет. Ты хромаешь. Ты едва можешь ходить.

— Я не хромаю. Я в порядке, — я встретила глаза Бэй-Бэя и что-то прошло между нами — что-то быстрое и понимающее, чего я до конца не понимала. — Они меня не заметят. Они никогда меня не замечают. Я могу подобраться достаточно близко, чтобы схватить несколько батончиков и выбраться до того, как они вообще поймут, что я там.

Бэйтс смотрел на меня долгий момент, а затем он ухмыльнулся, не маниакальная театральная ухмылка, что раньше, а что-то меньшее. Что-то почти гордое.

— Вот это дух, — сказал он. — Ладно. Вот план. Дэйвон и

Джейкоб, вы — отвлечение. Идите туда и спросите их об их костюмах. Притворитесь, что вам интересно. Оливия, ты — наблюдатель. Если увидишь, что кто-то идёт, свисти. Лидия, ты — тень. Заходи, бери шоколад, выходи. Я буду запасным. Если что-то пойдёт не так, я использую свои драконьи силы.

— У тебя нет драконьих сил, — застонал Джейкоб.

— Я использую свои запасные драконьи силы.

Мы прокрались в парк, наши костюмы шелестели, наши шаги были беззвучны на влажной траве. Старшие дети сгруппировались у качелей, их голоса громкие, а смех разносился в холодном ночном воздухе. Они говорили о чём-то — фильме, может быть, или футбольном матче — и они совсем нас не заметили.

Дэйвон и Джейкоб подошли к ним первыми, их пиратский и вампирский костюмы выглядели вдруг очень юными по сравнению с подростками на качелях.

Я держалась позади, согнувшись за парковой скамейкой, моё сердце колотилось так сильно, что я чувствовала его в горле.

Боль между ног вспыхнула, когда я согнула колени — резкое, настойчивое напоминание, что что-то было неправильно, что-то было сломано, что-то было отнято у меня, чего я не знала, как вернуть.

Но я затолкнула это вниз. Я затолкнула всё это вниз — боль, страх, воспоминание о руке моего отца на моём рту — и сосредоточилась на шоколадных батончиках, сложенных у

качелей.

Пять или шесть, может, больше, просто лежали там в открытом мешке. Лёгкие цели.

— Сейчас, — прошептала Оливия откуда-то позади меня.

Я двинулась. Быстро, низко и бесшумно, так, как научилась двигаться по собственному дому, когда папа пил и я не хотела, чтобы меня заметили. Я достигла мешка до того, как старшие дети вообще обернулись, мои пальцы сомкнулись вокруг трёх шоколадных батончиков — хороших, тех, что с карамелью внутри — и я была обратно за скамейкой до того, как кто-либо успел заметить, что я вообще там была.

— Есть, — выдохнула я, моя грудь вздымалась, мои руки дрожали.

Лицо Бэйтса расколола ухмылка настолько широкая, что, казалось, она могла треснуть его щёки. — Это было невероятно. Ты невероятна. Я делаю тебя своей официальной тенью с этого момента.

— Я не хочу быть твоей официальной тенью.

— Слишком поздно. Уже решено.

Мы отступили к краю парка, где Дэйвон и Джейкоб запутались из своего разговора со старшими детьми и бежали обратно к нам с одинаковыми выражениями едва сдерживаемого смеха.

— Они ничего не заподозрили, — сказал Дэйвон, запыхавшись. — Они были слишком заняты спором о том, круче ли оборотни вампиров.

— Оборотни очевидно круче вампиров, — подтвердил Джейкоб.

— Ты вампир.

— Я вампир, который уважает превосходство оборотней. Мы разделили украденный шоколад между собой.

Бэйтс настоял на дополнительном батончике за «стратегическое планирование» и мы направились обратно к дому Блэйков, наши мешки переполнены, наши костюмы измяты, а наш смех эхом разносился по тихим хэллоуинским улицам.

Боль между ног всё ещё была там — тупая, настойчивая ломота, которую я не могла до конца игнорировать — но она ощущалась меньше теперь.

Тише. Как что-то, что можно нести, а не что-то, что при-
давливало меня.

И когда я наконец рухнула в постель той ночью, мои крылья феи висели криво на спинке двери, мои конфетные запасы спрятаны под подушкой и я позволила себе поверить — всего на мгновение — что всё будет хорошо.

Быть может, всё будет хорошо.

ХОЛОДНОЕ РОЖДЕСТВО

Лидия

24 декабря 2004 года

Первое Рождество без мамочки наступило, укутанное в холод, который, казалось, просачивался сквозь стены дома,

как вода сквозь треснувший камень.

Я боялась его несколько недель — тишины там, где должен был быть её голос, пустого стула за обеденным столом, отсутствия волшебных огоньков, которые она всегда вешала сама, стоя на стуле с папиной рукой на её талии, смеясь над своей собственной кривой работой.

В этом году не было огоньков. Не было ёлки.

Папа перестал притворяться, что старается, несколько недель назад, и дом погрузился в серую, тихую неподвижность, которая ощущалась меньше как дом и больше как гробница.

Утром в канун Рождества я решила сделать что-то сама.

Мамочка всегда говорила, что лучшее рождественское волшебство — самодельное, а мне нужно было волшебство.

Любое волшебство, даже хрупкое, бумажно-тонкое, которое я могла создать своими руками.

Я нашла стопку старых газет в мусорном ведре и ножницы в кухонном ящике и сидела на холодном полу своей спальни, вырезая снежинки часами. Дюжины снежинок. Каждая чуть-чуть отличалась, как она меня учила.

Я связала их ниткой из её швейной корзинки и повесила на карниз, и когда отступила, чтобы посмотреть на них, они ловили бледный серый свет и отбрасывали его обратно разбросанными хрупкими узорами.

Они не были такими красивыми, как те, что делала мамочка, но они были моими.

Ночные визиты участились в последнее время.

Не каждую ночь — настроения папы были непредсказуемы, качаясь между долгим молчаливым отсутствием и внезапными, пугающими штормами ярости — но достаточно часто, чтобы я перестала спать в тёмные часы.

Я лежала без сна под одеялами, глаза устремлены на полосу света под дверью, тело сковано страхом, которому я не могла дать имя, ожидая шагов.

Иногда они приходили. Иногда нет. Незнание было почти хуже, чем знание.

Но сегодня был канун Рождества. Сегодня, сказала я себе, ничего плохого не может случиться. Даже монстры уважают Рождество.

— Лидия! — голос донёсся из-за окна, высокий, яркий и безошибочно знакомый.

Я пересекла комнату и отдернула занавеску, чтобы увидеть Бэйтса, стоящего в саду внизу, его светлые волосы припорошены снегом, а его куртка хлопала на ветру.

За ним, бредя через замёрзшую траву с охапками пакетов, были Оливия, Дэйвон и Джейкоб. Их дыхание туманилось в холодном воздухе, а лица были яркими от той особенной решительной весёлости детей, которые решили принести Рождество тому, кто в нём нуждался.

А я в нём очень нуждалась.

— Что вы здесь делаете? — крикнула я вниз, прижимая ладонь к холодному стеклу.

— Рождественская спасательная миссия! — крикнул в ответ Бэйтс. — Бери пальто, Диди! У нас вечеринка!

Я схватила красное пальто с капюшоном, то, что мамочка купила мне в прошлом году и выскользнула через заднюю дверь, пока папа не услышал.

Сад был холодным и серым, трава хрустела под ногами, но мои друзья были всплеском цвета, шума и жизни против декабрьской неподвижности.

Бэйтс уже устанавливал маленький, потрёпанный фонарь на каменной скамье у дуба, а Оливия расставляла банку печенья на скатерти, которую расстелила на замёрзшей траве. Дэйвон принёс термос горячего шоколада, который сделала его мама, а Джейкоб держал маленький завернутый пакет, который сунул мне в руки прежде, чем я успела сказать хоть слово.

— С Рождеством, — сказал он, его уши порозовели не только от холода. — Это немного. Я выбрал это сам.

Я развернула пакет дрожащими пальцами.

Внутри был маленький, гладкий камень — серый и обычный на вид, пока я не перевернула его и не увидела окаменелость, вкраплённую в его поверхность.

Крошечная, совершенная спираль, как замёрзшая галактика.

— Это аммонит, — сказал Джейкоб, его голос принял тот особенный тон, который всегда появлялся, когда он что-то объяснял. — Они вымерли теперь, но когда-то жили в океане

миллионы лет назад. Я нашёл его у реки прошлым летом. Подумал, тебе может понравиться.

Я смотрела на окаменелость, на крошечную, древнюю спираль, которая пережила миллионы лет, чтобы оказаться в моей руке и почувствовала, как моё горло сжалось. — Это красиво, — прошептала я. — Спасибо, — я кратко обняла его.

Оливия достала из кармана пальто маленький блокнот в кожаном переплёте.

Такой, какие она всегда носила, но этот был другим. Нovým. Пустым.

— Это тебе, — сказала она, вкладывая его в мои руки. — Это дневник. Ты можешь писать в нём вещи. Вещи, которые не хочешь произносить вслух, — она посмотрела на меня этими тёмными, серьёзными глазами и я знала, знала, что она что-то подозревает, даже если не знает, что именно. — Иногда записывание вещей делает их меньше. Так говорит моя мама.

Дэйвон протянул мне пару варежек, которые связала его мать — ярко-красные, того же цвета, что и моё пальто. — Она сделала их для тебя, — сказал он, его голос был грубоватым, но всё ещё тёплым. — Она сказала, что ты не должна мёрзнуть.

А затем Бэйтс, подпрыгивая на ногах с той особенной неукротимой энергией, шагнул вперёд и вытащил что-то из кармана своей слишком большой куртки.

Это был маленький, плюшевый дракон — зелёный и слегка кривобокий, с глазами-пуговицами и кривой улыбкой. Одно его крыло было согнуто под странным углом, а на хвосте не хватало стежка.

— Я хотел подарить тебе что-то важное, — сказал он нехарактерно тихо. — Это мой дракон. Его зовут Пип. Он у меня с младенчества. Он защищает меня от плохих снов, — он вложил дракона в мои руки и я ощутила, как похолодели его руки от мороза. — Я хочу, чтобы ты взяла его. На случай, когда меня нет рядом. Он будет защищать и тебя.

Я смотрела на дракона, на его кривую улыбку, согнутое крыло и отсутствующий стежок и почувствовала, как что-то треснуло внутри меня.

Что-то, что я держала запертым несколько недель.

— Бэйтс, я не могу это взять. Это твоё.

— Можешь. Я хочу, — он встретил мои глаза и его выражение было серьёзным теперь, лишённым обычной взбалмошной энергии. — Ты моя лучшая подруга, Лидс. Ты моя семья. А семья защищает друг друга.

Я не заплакала. Я была слишком измотана, чтобы плакать.

Но я притянула его в объятия, дракон расплющился между нами и я держала его так долгое время. Когда я наконец отпустила, я сделала вдох и полезла в карман своего пальто.

— У меня тоже есть кое-что для вас, — сказала я. — Для всех вас. Я сделала это сама.

Я вытащила подарки, над которыми работала последнюю

неделю, пряча их под кроватью, когда папа был дома.

Они были не особыми, ведь у меня не было денег, чтобы покупать вещи, да и папа никогда бы не дал мне, даже если бы я попросила, но я сделала их своими руками, как учила меня мамочка.

Для Оливии я сделала закладку.

Я отрезала полоску толстого картона от старой коробки из-под хлопьев и покрыла её прессованными цветами из сада — последними осенними цветками, высушенными между страниц самой тяжёлой книги мамочки.

Я написала её имя сверху своим самым аккуратным почерком и продела кусочек красной ленты через дырочку, которую проковыряла наверху.

— Для твоих блокнотов, — объявила я, вкладывая её в руки Оливии. — Потому что ты всегда теряешь страницу.

Оливия взяла закладку и провела пальцем по прессованным цветам, её зеленые глаза заблестели, как искорки. — Лидия, это... я не знала, что ты можешь делать такие вещи.

— Мамочка научила.

Она обняла меня, быстро и яростно, и когда отстранилась, она улыбалась настоящей улыбкой, той, что морщила уголки её глаз.

Для Дэйвона я сделала браслет.

Я сплела три пряди кожаного шнура — старые шнурки, которые нашла в глубине коридорного шкафа — и завязала их деревянной бусиной, которую покрасила в синий, его лю-

бимый цвет.

Это было просто, грубо и, наверное, не та вещь, которую мальчик захочет носить, но когда я протянула ему, он повертел его в руках с тем особенным, осторожным вниманием, которое он уделял всему.

— Это не очень хорошо, — начала я, но он покачал головой.

— Идеально, — он завязал его вокруг запястья, его пальцы удивительно ловкие для семилетнего и поднял руку, чтобы посмотреть. — Теперь у меня есть что-то, что будет напоминать мне.

— О чём?

— О тебе. *О всех нас.*

Для Джейкоба я сделала крошечную книгу.

Я сложила четыре листа бумаги вместе и прошила корешок иглой с ниткой, как мамочка показывала мне, когда делала свои собственные скетчбуки.

На обложке я нарисовала звёздную карту — созвездия, которые она показывала мне ясными ночами, те, что я всё ещё могла найти без неё.

Я подписала их своим лучшим почерком: Орион, Большая Медведица, Кассиопея.

— Для твоих наблюдений, — сказала я, протягивая ему. — Чтобы ты мог записывать всё, что замечаешь. Как облачные образования. И окаменелости.

Джейкоб взял крошечную книгу и открыл её, его пальцы

проследили стежки на корешке. — Это ручная работа, — сказал он приглушенно. — Переплёт очень точный. Как ты научилась это делать?

— Мама показала мне однажды, я подумала, что теперь я могу сделать это для тебя.

Он поднял на меня взгляд, и его выражение — обычно такое серьёзное, такое сосредоточенное на том, какой умный факт он вспоминает — смягчилось. — Спасибо, Лидс. Я использую это для чего-то важного.

А для Бэйтса я сделала рисунок.

Я провела три ночи, работая над ним с мелкими, которые прятала под кроватью, пытаюсь сделать каждую деталь правильно.

Это был дракон — огромный зелёный дракон с картонными шипами и кривой улыбкой, выдыхающий поток оранжевого и жёлтого огня через ночное небо, полное звёзд.

Внизу, своим лучшим почерком, я написала:

Для Бэйтса. Самого храброго дракона, которого я знаю.

Бэйтс смотрел на рисунок долгое время.

Когда он поднял на меня взгляд, его глаза блестели так, как я никогда не видела раньше.

— Это я, — сказал он, его голос странный и тихий. — Ты нарисовала меня.

— Я нарисовала тебя как дракона. Потому что ты хотел им быть.

Он больше ничего не сказал. Он просто обнял меня. Креп-

ко, яростно и полно всего, для чего у него не было слов и когда отстранился, он ухмылялся той широкой, неукротимой ухмылкой, которая втягивала его в неприятности с тех пор, как он научился ходить.

— Я повешу это на свою стену, — объявил он, осторожно сворачивая рисунок. — Прямо над кроватью. Чтобы видеть каждое утро, когда просыпаюсь.

— Это просто мелки. Это не очень хорошо.

— Шутишь? Это лучший подарок, который я когда-либо получал, — он выдал это с такой простой, абсолютной уверенностью, что у меня образовался ком в горле от нарастающих эмоций. — Ты сделала это для меня. Это делает его лучшим.

Мы сидели в саду ещё час после этого, сгрудившись на замёрзшей траве с горячим шоколадом и печеньем, фонарь мерцал против декабрьской темноты.

Дэйвон научил нас новой игре с футбольным мячом, который принёс. Джейкоб указывал на созвездия и объяснял их мифологическое происхождение, пока Оливия продолжала рассматривать свою новую закладку. Бэйтс продолжал хвастаться моим рисунком, показывая его всем, кто смотрел.

А я сидела среди них, дракон Пип в одной руке и новый дневник в другой, и позволила себе почувствовать то, чего не чувствовала уже несколько недель.

Надежду. Маленькую, хрупкую и мерцающую, как пламя, но она была там. Всё ещё там.

Но ночь пришла, как она всегда приходила.

Мои друзья ушли домой, свет их фонаря качался вниз по тёмной улице, пока не исчез.

Я прокралась обратно в дом, мои подарки прижаты к груди и оглядела кухню.

Пустые бутылки, холодную плиту и стул, где раньше сидела мамочка.

Тут же я подумала о Честере.

Где он был сегодня? Был ли он в безопасности? Было ли ему тепло? Думал ли он когда-нибудь обо мне, как я думала о нём?

Я не знала. Я не знала ничего, кроме того, что он исчез, а папа стал другим и мир превратился в холодное, тёмное место, которого я не понимала.

Ночные визиты случились уже дважды на этой неделе. Я перестала пытаться понять их. Некоторыми ночами я лежала без сна и слушала шаги. Некоторыми ночами я молилась, чтобы они не пришли.

Шаги пришли той ночью.

Я слышала их в коридоре — тяжёлые, неровные, как всегда — и закрыла глаза, прижав Пипа к груди и притворившись, что сплю.

Дверь скрипнула, открываясь.

Запах виски заполнил комнату. И я ждала, моё сердце колотилось, моё тело застыло, мой разум дрейфовал куда-то далеко, куда боль не могла добраться.

Я обещаю. Клятва на мизинцах.

Я держалась за эти слова, как за спасательный трос.

Я держалась за воспоминание о мальчике с серо-зелёно-кариими глазами, который пообещал на мизинце, что увидит меня снова.

Я держалась за надежду, что где-то там, за холодом и тьмой, и вещами, которых я не могла понять, он тоже думал обо мне.

И я выжила.

Я не знала как.

Я не знала почему.

Но я выжила

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.